



Владимир Шапко

Синдром веселья Плуготаренко

16+

Владимир Макарович Шапко

Синдром веселья Плуготаренко

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=29804878

SelfPub; 2019

Аннотация

Эта книга о воинах-афганцах. О тех из них, которые домой вернулись инвалидами. О непростых, порой трагических судьбах.

Содержание

Глава первая	5
1	5
2	8
3	11
4	14
5	18
6	24
Глава вторая	30
1	30
2	35
3	39
4	44
5	46
6	50
7	56
Глава третья	63
1	63
2	66
3	71
4	74
5	78
6	83
7	91

8	96
Глава четвёртая	98
1	98
2	101
3	104
Конец ознакомительного фрагмента.	106

Глава первая

1

Город просыпался. Невидимое солнце гонялось за летучими тенями над крышами домов. Внизу, в тёмных дворах, уже заходились и причитали иномарки. Промчался, простучал по рельсам первый пустой трамвай. После ночной тахикардии приходили в себя светофоры на перекрёстках.

С семи инвалид сидел у окна в квартире на первом этаже. Ждал, когда появится женщина. Уже умытый, с длинными жилистыми руками на подлокотниках коляски.

В плаще, поясом схваченная будто сноп, она выходила из-за угла и шла по противоположной стороне улицы. Ловко работая с фотоаппаратом «Зенит», Плуготаренко успевал снять её несколько раз вместе с пролетающими машинами.

На проявленных снимках всё так и получалось: женщина словно стремилась догнать размазанные машины. Полные ноги её – то одна, то другая – тоже превращались в мазки, но плывущее отрешённое лицо всегда отображалось чётко. Это были фотографии движения, снятые им с очень короткой выдержкой. Так снимают тайно шпионов. Выхватывают их нелепые позы. То одну, то другую – поднятые ноги. Когда кажется, что шпионы или просто пляшут на месте, или

всё время бьют по мячу ботинком. Хотя шпионом был он сам, и снимать надо было его самого вместе с инвалидной коляской – пригнувшегося, с поспешностью и усердием осьминога толкающего колёса к ванной, чтобы поскорей проявить плёнку,

Позавтракав с матерью и дождавшись, когда она уйдёт на работу, Плуготаренко сделал ещё несколько снимков. Опять для эффекта размазанного динамичного движения он устанавливал очень короткую выдержку. Он размазывал то передний план перед идущим объектом съёмки, то задний. А когда объект находился в фокусе, новой выдержкой он делал размытыми пролетающие машины.

Он работал как фокусник. С тротуара выдернул идущего старика. Который вдруг глянул на него дремучим взглядом. Точно пальцем погрозил. Потом девчущку лет десяти. Несмотря на апрельскую утреннюю свежесть, пробежавшую в одном платypiшке.

Крупный кобель протянул. Кучерявый. С вислым пузом как баран. Успел и его снять несколько раз.

Проявленные и сохнувшие в ванной фотографии казались какой-то висящей смирившейся плацентой. Увеличенное лицо девчонки было осыпано веснушками точно чёрной гречкой. А хитрые блестящие глаза бегущего кобеля засели в кучерях будто в тучном муравейнике.

За столом в комнате он раскладывал по конвертам готовые снимки. Один конверт – плотный, из-под фотобумаги –

лежал на столе отдельно. Он вынимал из него и подолгу рассматривал последние фотографии женщины. Натальи Фёдоровны Ивашовой.

Фотографий было много. Но ни на одной из них она не улыбалась. Она всегда проходила мимо окна с фотографом хмурая, отчуждённая. Или вдруг лицо её становилось плаксивым, страдающим. Словно она только что увидела смерть на дороге, и сегодня точно так же должна погибнуть.

Раз в месяц, когда она приносила ему пособие, он крутился с коляской вокруг стола, как при игре инвалидов в баскетбол. Кидал и кидал, что называется, словесные мячи. Она всегда молчала. Она сидела со стаканом чая напряжённо, для устойчивости выставив полную ногу вперёд. Точно опасаясь, что стул под ней треснет. На буром лице её проступал пот.

Специальную сумочку с деньгами она прятала в хозяйственный пакет. Вставала из-за стола. Приняв в ужавшуюся ладонь железный рубль, говорила: «До свидания, Юрий Иванович». И, пятясь, выходила за дверь. А он тяжело дышал, точно только что свершил половой акт с ней.

Он дико смотрел в телевизор, где какой-то экзотический петушок ходил и встряхивал пышным хохолком перед серой равнодушной самочкой.

2

Приходила на обед мать. Жёсткие волосы что матери, что сына напоминали непролазный осенний бурьян. Если сказать другими словами – две пригнувшиеся донские кубанки хлебали щи за столом.

Мать поглядывала на сына. Спросила про редакцию. Сын ответил, что сейчас поест и поедет туда.

– Помочь в подъезде?

– Зачем? Пандус теперь. Справляюсь.

– «Пандус». «Справляюсь». Да если бы Коля Проков не надавил в военкомате – так и корячились бы в подъезде до сих пор!

В военкомате Коля Проков «надавил» полгода назад. Пандус сделали – уже месяц как. Однако мать не уставала напоминать сыну об этом каждый день.

– Почему не едешь к ним? В Общество? Ведь всего там можно добиться. Глядишь, и машинёшку бы тебе там выбили. Вон Громышев. Такой же, как ты, а давно уже трещит на своей по улицам, в кабинке почти не видать, но едет. Едет! Да ещё и жена рядом втиснутая подпрыгивает. Чем ты хуже его? Он-то хоть ходит. На протезах.

Сын хотел сказать, что в Обществе о нём и так уже хорошо позаботились. Тот же пандус в подъезде. Вон, вторую коляску – для улицы, на рычажном ходу – почти даром полу-

чил. Что у многих ребят-инвалидов и этого до сих пор нет. Но зная, что мать всё равно будет гнуть своё – промолчал.

После трёх Юрий Плуготаренко гнал солнечную россыпь спиц новой коляски в редакцию газеты «Наш город». К редактору Уставщикову. Герману Ивановичу. Рычаги для рук работали как весёлые гимнасты. Солнце баловалось в вышине. До самой последней ветки прорисованные, со светло-зелёной кашкой кружились высокие апрельские тополя.

– Пацаны, закиньте-ка меня наверх!

Человек пять пионеров подхватили коляску с инвалидом и занесли на крыльцо.

– Молодцы, красные следопыты!

В тёмноватом длинном коридоре уворачивался от высказывающих отовсюду сотрудников газеты. Виновато тормозил, уступал дорогу.

Потом в большой комнате несколько человек склонились над фотографиями. Серьезный Уставщиков Герман Иванович мял губы. Юрий Плуготаренко выкладывал и выкладывал на стол новые снимки. Жулев, фотограф газеты, заглядывал со всех сторон. С фотоаппаратом своим, будто с болтающейся килой. Удивлённый и даже обиженный повернулся к автору:

– Ну ты, Плуг, даёшь!

Отошёл даже в сторону. Делая большими глаза. В которых, казалось, продолжало мерцать увиденное: некрасивая женщина с солоделым равнодушным лицом; она же, совер-

шенно неузнаваемая, идущая по тротуару с пропадающими, увидевшими казнь глазами; задумавшийся старик, строгий глаз которого торчал как палец; бегущая смеющаяся девчушка, в байковом платьишке будто целый детсад. И всё это сделал – Юрка Плуг. Бывший соклассник. Зачем дал ему книгу Морли? По фотографированию движения? Ведь он уже снимает «с проводкой», даёт динамику движения, размазывает и задний и передний планы. Куда же он дойдёт, если и дальше будет так же здорово снимать своим простым «Зенитом». Мне-то куда тогда? С моим ФЭДом-Микрон автоматом?

Юрий выложил на стол последнюю фотографию. На ней был снят малец лет трёх-четырёх. В глухой зимней шапке, охлёстнутой резинкой, в большой душегрейке, в зимних ботах, но почему-то в одних только легких бумажных колготках, из которых пробился наружу крохотный детский писюн.

Это была фотография маленького Кольки Мякишева. Соседа Плуготаренко по площадке. Зашедшего однажды зимой после прогулки к фотографу в гости.

Все дико хохотали. Даже сдержанный Герман Иванович. Который мгновенно придумал название снимку:

– «Главное, чтобы на улице уши не мёрзли. А на остальное – наплевать!» Ха-ха-ха!

Плуготаренко гнал под ликующим солнцем домой. Апрельские высокие тополя всё так же кружились. Всё так же лезли в небо.

Вечером два бурьяна опять сидели в большой комнате за столом. Ели творог. Потом пили чай. Мать спросила про редакцию. Что сказал Уставщиков?

– В Москву пошлют, мама. Предложат на выставку в сентябре. Двадцать шесть снимков отобрали, – ответил сын и, перекинув себя со стула в коляску – домашнюю, небольшую – порулил к себе.

Лежал на диване, смотрел на потолок. Среди других взяли три фотографии Собачьей Мамы.

Прошлым летом в первый раз успел снять её необычную летнюю шляпу с искусственными цветами, шляпу из девятнадцатого века, проплывшую под самым окном. На другой фотографии, сделанной через день, она уже шла по противоположной стороне улицы в сопровождении коуды собак. С рюшами на груди и рукавах платья, в своей шляпе с цветами – как большая цветущая клумба.

Тогда, впереди всех, указуя дорогу, бежал собачонок по кличке Людвиг. В ранге словно бы зачуханного немецкого аристократишки. Остальные тузики, бобики и черныши были русского сословия.

У гастронома коудла останавливалась, и Собачья Мама длинным указательным пальцем наказывала что-то Людвигу. (На кнопку затвора успел нажать три раза.) Людвиг слу-

шал, грустил, воротил лохматую мордочку в сторону. С сумкой под продукты Мама уходила за дверь. Кода терпеливо ждала. Минут через десять начинала выть. Людвиг солировал, задавал тон. Мама – выходила. Все собачата радостно кидались, подпрыгивали прямо к её лицу. И снова успокоенными флажками тряслись за Мамой по тротуару. А собачонок Людвиг Ван Бетховен, понятное дело, трясся впереди. И Плуготаренко проводкой только снимал и снимал.

Пытался представить, что испытывают соседи, когда ей по какому-нибудь делу нужно было уйти из дому одной. Какие концерты тогда звучали из-за двери её квартиры. Под руководством ответственного за тишину Людвига.

Один раз встретил её на улице как раз без собак. С улыбкой остановил коляску с намереньем заговорить. Но брови её разом сдвинулись, напряглись: не подъезжай! не спрашивай! В морду дам! Странная. Какая-то напрочь отгороженная. Ехал, долго не мог успокоиться.

Мать, разглядывая фотографии женщин, снятых сыном, каким-то шестым чувством сразу определяла, где у него только художественное пристрастие, а где нечто другое. Так произошло и с Собачьей Мамой.

– Ты что – с ума сошёл? Она же больная! Шизофреничка!

– Кто тебе это сказал?

– Да она же получает деньги в сберкассе на площади. Мне Баннова оттуда сказала. Получает вторую группу. По шизофрениии. Не держится ни на одной работе!

Месяца через два Дама С Собачками исчезла. Придя как-то домой на обед, Вера Николаевна Плуготаренко не без злорадства поведала сыну:

– Знаешь, где живет теперь твоя пассия? Не поверишь! На Холмах! Поменяла однокомнатную в центре на хибару-развалюху. И всё из-за собак своих. Соседи выжили. Через суд. Мне Баннова сегодня сказала.

В этот же день Юрий взобрался на Холмы – район на окраине города. Всё так и оказалось, как донесла матери Баннова: Собачья Мама развешивала простыни в пустом покато́м дворе с кособокой хибаркой. Без шляпы своей с цветами, в чёрной вислой юбке поверх белой нижней рубашки без рукавов, с костлявыми сырыми руками. Кодла перебегала за ней как привязанная. Лишь Людвиг караулил таз с бельём на крыльце.

Как сталкиваемая кем-то, коляска с Плуготаренкой рывками спускалась по единственной, крутой улице Холмов. Плуготаренке было грустно.

Вторая вычисленная матерью *женщина сына* была Наталья Ивашова с почты, приносящая Юрию пособие. Только увидев её фотографию на столе, Вера Николаева в сердцах воскликнула:

– Ты лучше никого не нашёл? Она же разведёнка. Детей не может иметь. Мне Баннова сказала. (Ох уж эта Баннова!)

Однако сын на этот раз не поддался. Через два дня поил пришедшую с деньгами Ивашову чаем, выписывая на коляске кренделя перед ней. Говорил и говорил без остановки. О чём? Да о чём угодно! Он не мог остановить коляску. Он доказывал и себе, и женщине, что абсолютно здоров. Как павлин, как петух он распускал перья. Растерянная мать, столбом сидящая на табуретке, не узнавала сына. Он вёл себя точно так же, как когда-то в госпитале Ташкента. Куда она в 82-ом приезжала, чтобы забрать его домой.

Невеста тоже молчала. Вытиралась платком. Часто отпивала чай. Словно чтобы он поскорее закончился. Ни на кого не смотрела, но остро видела всё. Сын и мать были точными копиями друг друга. Оба с поджатыми грачиными лицами, с круглыми головами, прямо на которые «грачи» вдруг накидали свои жёсткие грачиные гнёзда.

Как посторонняя, мать что-то сказала. Притом басом. Внезапно взялась чихать. Тоже по-мужски. Как с печки па-

дать: ир-рах! ир-рах! ир-рах!

Наталья вздрагивала. Наталья удивлялась самой себе, почему она каждый раз, когда приносит пособие, остаётся здесь и пьёт чай. Почему выслушивает словесные фейерверки раскатывающего инвалида. Да ещё теперь под приступы его чихающей матери.

– Спасибо. Мне пора.

Пятясь к двери, только покосилась на кинувшегося с рублём инвалида. Прикрыла дверь квартиры.

Шла по Лермонтова, не воспринимая встречных, не слыша проносящихся машин. Всё виделись худые ноги инвалида. В ядовито-чёрных блестящих трениках и белых кулестых кроссовках. Стоящих абсолютно недвижно на ступеньке коляски, никак не соотносящихся с мощным живым торсом мужчины, с размахивающими жилистыми его руками.

Когда она увидела первые свои фотографии, особенно одну, где полные ноги её в чулках заголились до пристёгнутых резинок – нахмурилась, покраснела.

– Зачем вы это сделали?

Он тут же порвал фотографию. «Извините. Был ветер». И больше ничего не показывал.

Через месяц как-то забылось это всё, и в очередной приход, чтобы прервать его лихорадочные речи и раскатывания по комнате, она сама спросила, как давно он занимается фотографией и почему.

Он перекинул себя к столу, налил ей снова из заварника и

чайника, пододвинул печенье. Только после этого серьёзно сказал: «На фотографиях останавливается время, Наталья Фёдоровна. Фотограф может остановить его. Впрочем, как и живописец. Даже в кино время не остановишь. Хотя оно там вроде бы и законсервировано. Уложено в коробки. Наверное, поэтому. После Афганистана начал этим заниматься». И он стал сгребать со стола раскиданные ранее снимки.

Наталья шла и думала о словах инвалида. Свернула, наконец, к шестиэтажному дому. На втором этаже позвонила в одну из трёх квартир.

Расписавшись, старуха по фамилии Семибратова цепко пересчитывала деньги. Казалось, даже глаза её были напитаны едким запахом стариковского корвалола. Как и вся тёмная, заваленная старушечьим тряпьем и хламом квартира. За столом Ивашова запирала дыхание. Как же она живёт, бедолага? Уходя, мягко остановила цепкую ручонку с десятиком.

От старичка двумя этажами выше пованивало кисло. Как из винной бутылки. Однако на прощание он сказал: «Я ищу прачку. Хорошо бы платил». Глаза его вдруг заиграли. Как у развратного мальчишки. «А, девушка?» Девушка тридцати пяти лет молча пошла к двери.

В соседнем доме тяжёлый отёкший старик был ещё одним получателем пенсии на дому. Жена вывезла его в коляске в высокую сталинскую комнату будто в царские палаты. Персональный пенсионер. Неповоротливый, медлительный как

водолаз. (В смысле – в скафандре. Перед спуском в воду.) Долго налаживал очки. Никак не мог понять, где расписаться. Жена, похожая на краснощёкую курицу, ткнула пальцем: «Вот здесь! Соберись!» «Собрался». Начал ворочать шариковой ручкой. И уехал куда-то вниз, зацепив своей подписью две чужих. Наталья тихо сказала, чтобы он написал доверенность на кого-то дееспособного. «Да где он напишет? Как?!» Муж почему-то запротестовал. Забубукал что-то. Жена молча покатила его из комнаты.

Ивашова опять шла по улице. Помимо воли видела увозимого возмущённого пенсионера с налившимся кровью затылком. Бедный беспомощный старик.

На почте высокий ящик для писем с открытыми ячейками напоминал голубятню. Ивашова быстро раскидывала по ячейкам письма, сортируя их по названиям улиц на конвертах. Это была не её работа, но, быстро раздав пенсии, она явилась в Отделение раньше двенадцати, раньше отпущенного ей времени, и Вахрушева тут же нарядила сортировать. А потом и исходящие письма бить штампами и раскидывать по другим ячейкам. По разным городам. Уже в ящик у окна. Вахрушева ходила по Отделению, поглядывала на склонённые головы подчинённых, на мелькающие их руки. Лоб у Вахрушевой был как рахит: очень выпуклый и белый. Производственная почтовая эта практика, разработанная ею, повторялась из года в год, почти ежедневно, все в Отделении могли заменять всех. Поэтому Наталья мало обращала внимания на гордую начальницу, автоматически была штампом. Как и Плуготаренко недавно, поглядывала на зелёную апрельскую кашку только-только начавших распускаться тополей. Но в отличие от фотографа, смотрела с тоской. Сквозь решётку окна. Как заключённая.

К слову сказать, даже гражданского мужа своего, Семёна Семёновича, когда того сдуру заносило на почту, Вахрушева сразу нагружала работой – сортировать письма или оформлять в первом окне подписку. Семён Семёнович имел лишь

косвенное отношение к почтовому отделению № 4: он ездил в поездах начальником почтового вагона, постоянно бывал в поездках, в Город приезжал, чтобы отдохнуть, набраться сил, но Вахрушева и его не жалела. У Семёна Семёновича была совершенно голая, без единого волоска, беззащитная голова. Портретист Сатказин из парка смог бы, наверное, всего несколькими штрихами нарисовать его. Вместо носа – вытянутая книзу обувная ложка, вместо бровей – две вздёрнутые печальные скобки, вместо глаз – чёрные две точки. Бедный, бедный Семён Семёнович, вздыхала Наталья с остальными работницами почты.

Вечером, сняв платье, Наталья смотрела на себя в зеркале прихожей. Ноги в коричневых чулках походили на два окорока на верёвках. Подвешенных в гастрономе. Ещё и обиделась из-за таких ножищ на инвалида. Уродина! Сняла с себя всё, пошла в ванную.

Однако Плуготаренко гонял перед ней на коляске всегда. Когда бы ни пришла к нему. Всегда показывая и ей, и себе, что он здоров, что двигается, что полноценен. Однажды её удивили такие слова инвалида: «Когда актёры в театре играют великих русских поэтов (Пушкина, например, Есенина) – мне всегда становится стыдно. И за них, и за себя. Сам не знаю почему. Не могу смотреть на сцену. Закрываю глаза. А они ничего не подозревают даже. Стараются на сцене, изображают этих поэтов... С писателями на сцене всё же легче. Можно смотреть. А вот с поэтами... Вы любите театр, Ната-

лья Фёдоровна?»

За пятнадцать лет жизни в Городе Наталья была в театре всего два раза. И то – обязательными двумя культпоходами. Организованными неугомонной Вахрушевой. Которая в антрактах, как клушка выводок, водила за собой подчинённых – холостячек и разведёнок – по фойе драмтеатра, рассказывая о висящих на стенах актёрах и актрисах. В буфет, откуда всё время слышался призывный звон бокалов и смех, никого не пускала. Плоскостопная Послыхалина пошлёпала было туда как покалеченная балерина, но Вахрушева тут же догнала её, привела обратно и вставила в единый ряд: не отрывайся от коллектива!

От пенсии до пенсии Наталья бы и помнить не помнила об афганце Плуготаренко с его рассуждениями, но почти каждый день ходила по Лермонтова, мимо его дома, и инвалид с фотоаппаратом торчал в окне всегда. Ноги Натальи становились чугунными, чужими. Она не узнавала себя, свою походку. Иногда чуть ли не бегом спешила мимо окна. Вроде киноактрисы «не замечающей» камеры. Однако инвалид успевал-таки сделать несколько снимков. И можно было только представить потом, какой она на них получалась.

После ванной Наталья опять смотрела на себя в зеркале прихожей. Поворачивалась в профиль. Схваченный баннным полотенцем зад походил на свисшую торбу. И чего во мне такой вот толстой он нашёл?

Вспомнилась ещё одна сентенция раскатывающего инва-

лида, услышанная через месяц: «Счастье человека, Наталья Фёдоровна, в том, что он не видит себя со стороны. Другие видят, а он себя – нет. Понимаете? Это всё равно как в туалете не слышать своей вони». И он раскатывал дальше и смеялся, прямо-таки счастливый от своего открытия.

Он вот как раз и не видит себя со стороны. А если видишь? Видишь, себя в зеркале? Как сейчас? Видишь такую тушу и страдаешь?

Вахрушева прошлым летом погнала всех на стадион. Словно бы сдавать ГТО. Вспомнила вдруг из советских времён. Наталья на ста метрах упала. Снесла кожу на левой ноге. Уходила к раздевалке, сильно хромая, полоща порванной до колена штаниной. (Случись там в тот день фотограф в коляске – уж точно бы сфотографировал её.)

В телевизоре над раскрытой могилой английского кладбища висела тесная стая чёрных зонтов. Как будто организованно скорбели под дождём летучие мыши. Наталья смотрела, после плотного ужина расслабленная, с бурым лицом. Султан на вымытой голове был как у турка. Изредка отпивала из стакана чай.

Потом был ведущий передачи «Человек и закон». Серьёзнейший зануда. После слова «смотрим!» – всё время расписывался в какой-то бумажонке на столе. Наталья отпивала, смотрела. Фотограф с Лермонтова тоже бы заснял эту домашнюю картину: отдыхающая у телевизора умиротворённая толстуха.

Даже не помыв посуду, Наталья рухнула на диван, сбросила на пол книжку «Ювенильное море». Выключила свет.

Во сне увидела бухгалтера Колотилина. Первого своего мужа. Фёдор Степанович гонялся за ней по Новоявленке, бил по заду большим дрыном. Кричал: «Гадина! Гадина! Мерзавка!» По всей деревенской улице стояли платоновские мужики с обложки книги «Ювенильное море». Ничего не делали, чтобы защитить Наталью. Исхудалые, молчаливые. С длинными, как лопаты, руками.

Колотилин Фёдор Степанович был старше Натальи на двадцать лет. Женившись на ней, очень серьёзно воспитывал. Для себя. Для своей размеренной, спокойной, осмысленной жизни. И в Правлении, где под его началом она стучала на счётах, и дома – в просторном коттедже, построенном специально для него совхозом. За полгода, что прожил с ней, он ко многому её приучил.

Супружеская кровать в спальне коттеджа была, наверное, выше эшафота. Наталья забиралась на неё тяжело. Неповоротливой толстой куклой. Фёдор же Степанович всегда запрыгивал. Эдаким лихим наездником. Однако вместо того, чтобы обнимать жену, сразу же разворачивал центральную газету. Таковую же газету давал и Наталье. Оба долго читали. Всегда были в курсе текущей жизни Страны. Потом свет выключали. С блестящими глазами лежали полностью удовлетворённые. Словно подвешенные на канцелярские какие-то дыбы. Засыпали.

Всё поломал вернувшийся из армии в тельняшке и берете ВДВ Лёнька Троеглазов. В коттедже он кинул Фёдора Степановича приёмом в спальню. Затем увёл рыдающую неверную невесту к себе, в мазанку на окраине деревни. Однако мать его, тощая Троеглазиха, всё гнобила Наталью, всё припоминала ей измену сыну, ела её поедом. Да и Лёнька после ВДВ стал диким, непредсказуемым. Скрипел зубами, ходил по деревне, бил о голову кирпич, потом злыдарил дембельную песню под гитару.

Мать Натальи умерла три года назад. В родном доме брат развёл уже большую семью. И, пожив в мазанке с Троеглазихой и её сыном только месяц, Наталья сбежала в Город. К Тане Зуевой. Верной подруге. Три года уже живущей и работающей там.

6

В мае, в солнечный день, опять увидела фотографа-инвалида. Теперь уже на Тургенева, когда шла на обед домой. Он гнал на коляске навстречу. И вроде бы не видел её. Но, подлетев, тут же завернул и начал выписывать по своему обыкновению вокруг неё круги.

Он выскакивал с разных сторон. Он смеялся, он хвастался, что Уставщиков Герман Иванович уже отослал снимки в Москву, что самые лучшие снимки в подборке – это снимки её, Натальи!

Она шла и словно налетала на коляску. Она не могла смотреть на пригнувшуюся голову и спину инвалида, на его руки, дёргающие и дёргающие рычаги. Встречные люди замедляли шаги. Она глаза уводила, опускала голову, А он и не думал останавливаться. Как невероятный какой-то, собранный из железа и плоти плясун, наярывал и наярывал рычагами.

– Смотрите, Наталья Фёдоровна! – вдруг остановился и крикнул он.

В руках его появился фотоаппарат, и он начал снимать шевелящийся от ветерка кипенно-белый сиреневый куст. На противоположной стороне улицы. Который, словно вельможа с оттопыренными мизинчиками, проверял и проверял свои белые кружева и оборочки.

Он снимал его и так и эдак.

– Извините, что задержал, – катил потом он рядом и смеялся, сунув фотоаппарат в сумку.

Наталья думала, что он не знает, где она живёт. Но у дома на углу он остановился точно. Даже возле её подъезда.

Помявшись, она пригласила его попить чаю.

Петушистость сразу слетела с него:

– Мне не подняться на четвёртый этаж, Наталья Фёдоровна. Извините. До свидания.

Он покатил обратной дорогой. Не поднимал головы. Не видел даже белый куст, который только что снимал...

В Обществе афганцев человек семь инвалидов шумели вокруг стола Николая Прокова, председателя. Двое безногих сидели в колясках, остальные махались руками со стульев. Только что вышел новый Указ об афганцах. Было о чем покричать инвалидам. Проков утихомиривал. Проков водил над головами чёрной протезной рукой:

– Тихо, ребята, тихо! Тихо, я сказал!

Увидел въехавшего в комнату Юру Плуга. Все тоже повернули головы. Сразу замолчали.

Плуг отслужил в Афгане в автомобильных войсках. Считался ветераном неполноценным что ли. В боях и зачистках не участвовал, под пули не шёл. Просто возил в Кабул для контингента боеприпасы и тушёнку. Конечно, духи, случилось, жгли и грузы. И погибали ребята. Но этот-то съехал с камазом в пропасть. Где-то на перевале. Переломался весь. Вроде бы в гололёд это случилось. Никогда ведь об этом не

расскажет. На сходки афганцев не ходит, песню про батяню-комбата не поёт. Зато медаль получил и льготы все имеет. Да ещё Проков почему-то благоволит ему. Этому Плугу. Вон, уже телефон накручивает. Прямо-таки друг к нему сердечный приехал!

Полноценные хмурились. Косились на Плуготаренку. Мало, видите ли, ему пособия от государства. На механическом был – как надомника сократили. На картонажку теперь лезет. Чтобы коробки клеить. Чтобы к пособию опять получить.

Проков уже писал что-то. Нос его походил на песчаную дюну. Откуда-нибудь из Прибалтики. Или, если проще – на сглаженный шлем.

– Вот, Юра, – протянул записку. – Поезжай, оформляйся. Всё будут привозить так же, на дом. Пару тысконок в месяц будешь заколачивать. Ну, давай, друг! Вере Николаевне большой привет!

Веру Николаевну Проков очень уважал. Познакомился он с ней ещё в далёком 82-ом году в ташкентском окружном госпитале № 340, куда она приезжала забрать домой сына-инвалида, и куда его, Прокова, месяцем ранее с гангреной руки эвакуировали самолётом из госпиталя Кабула. Прокову оттяпали в ташкентском госпитале левую руку почти по плечо, сутки он был в реанимации, ещё дня три пролежал в палате и начал вставать.

Забинтованный по плечо, как обрубленный на один бок,

в столовой оказался за одним столом с каким-то колясочником. Познакомились. Оказалось, что они земляки. Оба из Города. Плуготаренко уже был старожилом в госпитале. За полгода ему собрали таз и обе сломанные ноги, сделали две сложнейших, но бесполезных операции на позвоночнике. Он прошёл «реабилитацию», получил коляску и ждал мать, чтобы та увезла его домой.

Парни, хотя и были не одного ранга (один лейтенант, другой – рядовой) да и лежали в разных палатах, стали видеться каждый день. Ели за одним столом, курили на воздухе, таскались по больничному парку. Плуготаренко ехал, Проков шёл. Разговаривали.

Проков, постоянно мрачный, винил себя, что руку потерял по глупости. Пуля прошила её навывлет, даже не задела кость. Нужно было обеззаразить рану мочой, а не лежать с замотанной чёрт знает чем рукой на сорокаградусной жаре в горной пыли несколько часов под пулями и минами духов. Тем более поражал его какой-то неиссякаемый оптимизм нового друга. Всего перекалеченного колясочника Плуготаренко. Уверявшего всех и, походило, больше себя самого, что он, Плуготаренко, родился в рубашке. И это говорил весь переломанный инвалид, который никогда не будет ходить!

Как рассказал потом сам Юра, на перевале в утренний гололёд камаз внезапно повело с узкой дороги. И большегрузная машина полетела с горы вниз. Не успевшие выскочить, не взятые на ремни два шофёра кувыркались в кабине, по-

что сразу потеряв сознание. Обоих вынесло через лобовое стекло на камни. Сверху их увидели возле белой, рвущейся в лощине речки. Как оказалось, один был жив.

Хлопались лопасти вертолѐта, корпус трясло как амбар. От боли Плуготаренко всё время терял и вновь выхватывал сознание. Однако почему-то удивлялся как пацан – в таком трясущемся амбаре он летел первый раз в жизни.

Через полгода приехавшая в Ташкент Плуготаренко-мать, в больничном парке увидев сына в коляске, бросилась, обняла ноги его и зарыдала. Но сын почему-то старался освободиться от неё, отталкивал и, не переставая, смеялся. Смеялся, как дурачок:

– Мама! Ха-ха-ха! Что это ещё такое! Ну-ка прекрати! Ха-ха-ха!

Какой-то забинтованный парень без руки поднимал её с колен, а сын всё раскатывал вокруг и всё смеялся. И было непонятно матери, над чем он смеётся. Сын смеялся словно бы над солнцем. Которое строило рожи в высоком азиатском тополе. Мать перестала плакать.

На другой день перед отъездом поговорила с врачами. Печальный узбек с лицом будто чёрный сапог сказал: «Посттравматический синдром. Бывает и в таком виде. В весёлом. Радуетя, что остался живым. Должно пройти».

Но у сына ничего не проходило. Ликующий, он мчался вдоль состава по перрону к воинскому третьему вагону. Мать и Проков бежали, еле поспевали за ним.

Пока Вера Николаевна управлялась с вещами и подавала билеты, сын опять раскатывал и раскатывал вокруг. Смеялся, вскидывал лицо, жмурился от солнца. Два дембеля вынули его из коляски и занесли в вагон. Но и в купе, посаженный на нижнюю полку, он, казалось, продолжал «раскатывать». Размахивал руками, смеялся, со всеми знакомился.

И только когда Проков сложил и занёс коляску, когда замкнул его руку своей прощальным замком – глаза обезноженного инвалида заполнились слезами:

– Спасибо, друже, – прошептал он. – За всё спасибо. До встречи дома.

Глава вторая

1

Вечерами мать и сын собирали и склеивали из нарубленных на шаблонах заготовок картонные коробки. Заготовки привёз на дом рабочий с картонажки. Он же показал, что и как делать. Сын довольно быстро освоил фальцовку. То есть перегибал по линиям и складывал заготовку в форму коробки. Мать кистью с клеем мазала торцы. Склеенную коробку откладывала в сторону. Поглядывала на пригнувшегося сына. Плуготаренко-отец звал его Юриком. Даже Юричиком. Прямо с роддома, с пелёнок. Так и пошло.

В шестидесятых да и в начале семидесятых жили в «голубятне» на Комсомольской – четырёхэтажном доме, набитом коммунальщиками. Приехавший с Дальнего Востока офицер Плуготаренко, которого комиссовали по здоровью, хотя и имел самоварное галифе вместимостью на пару кубов (воды), добиться отдельной квартиры не смог.

Комнатёнка на третьем этаже, украшенная им для родившегося сынишки (Юричика), походила на рождественскую коробку-игрушку. С развешенными гирляндочками, пластмассовыми попугайчиками, мишутками и ёлочными шариками. Даже висящие всюду пелёнки и ползунки хорошо впи-

сывались в эту праздничную комнатку-игрушку. Которая раскрывалась словно бы с музыкальным звоном. И откуда офицер как-то снизу, как для снимка, выглядывал с толстеньким Юричиком.

Сохранилась фотография того времени, на которой Плуготаренко, стоя, держит на руках годовалого сына. Галифе офицера обвисло, провалилось, словно ему тяжело сына держать. С Дальнего Востока он тогда приехал без контейнера. Вообще безо всего. Зато в чёртовых этих галифе. Сейчас и сын его такой же. Чтобы телефон на дом требовать – нет, только коробки запрашивает.

Вера Николаевна мазала торцы, вздыхала. Попросила сына увеличить какую-нибудь фотографию отца. Пусть будет ещё одна на стене. В добавление к трём уже висящим.

После ужина Юрий раскрыл за чистым столом семейный альбом. Безымянные фотографии снимали отца в период с 61-го по 71-й год. То есть ровно десять лет его жизни на гражданке. Больше всего сохранилось фотографий с любимым Юричиком, где Офицер всегда был почему-то с ним щека к щеке, как будто вёл его под музыку танго. Однако были фотографии и с его работ.

А успел он поработать за эти годы только в трёх местах: военруком в мужской школе-семилетке, директором городского парка и директором бани на Холмах. Вот он во дворе школы-семилетки, видимо, на большой перемене, точно смеющийся чабан пытается сгуртовать в какой-то порядок

мечущихся, не дающихся ему малолеток из третьего или четвёртого класса. На другом – уже в парке им. Кирова – он серьёзно указывает двум плотникам, которые хмурыми топорами вытюкивают новую после Сталина хрущёвскую карусель. И, наконец, на крыльце бани на Холмах он стоит со своими банщицами, удерживающими банные веники. Точно с четырьмя русскими гейшами с опахалами. По две о каждую его руку.

И везде, на всех фотографиях – он в чертовском своём галифе, свисающем подобно знамёнам анархиста.

Любил человек носить галифе, любил. Чего уж тут. Носил до самого последнего своего дня. До нелепой трагичной своей гибели.

Это случилось в мае 71-го. С тремя морожеными в руках он шёл через дорогу к жене и сыну. Его ударил, переехал грузовик. Кинувшийся с противоположной стороны десятилетний Юрик увидел в пыли под грузовиком маленькие сапоги и жутко плоское галифе отца. Разом сдувшееся, словно это из него, из галифе, вытолкнули под грузовик всю дорожную поднятую пыль.

Бегал, стenal шофёр. Вера Плуготаренко прижимала голову сына, не давала смотреть. Сама скулила как собака...

Фотограф почувствовал на своём плече мягкую руку. Ну, как, Юра, – выбрал?

Сын разложил перед матерью три фотографии.

– Вот эта подойдёт – сразу ткнула пальцем Вера Николаевна.

На снимке Офицер, совсем молодой, стоял в другом галифе. Наверняка парадном. Хорошо поддутом снизу. На кителе Офицера, как на выпуклой кирасе, был привинчен Гвардейский знак и висели три медали. Фотография была помечена 7-ым ноября 50-го года. И город был указан – Владивосток. И пояснение дано: «Это я сразу после парада».

В ванной свет из фотоувеличителя стекал. Так течёт очищенное зерно из элеваторного сепаратора.

Юрий подложил под свет снимок отца.

Ночью, во сне, к Вере Николаевне вдруг пришёл на работу погибший муж. Плуготаренко вздрогнула, разом покрылась потом.

Он стоял прямо перед её канцелярским столом в неузнаваемом, уставшем галифе и был, как Бог, весь в слезах.

– Вера, почему наш Юричик клеит коробки? Почему он в коляске, без ног? Как ты допустила такое? Вера, ответь!

Вера Николаевна поперхнулась.

– Иван, дорогой, ты видишь, я занята. Я готовлю бумаги для архива, а тыходишь в кабинет без стука. Ты сильно напугал меня, Иван Гаврилович. Выйди, пожалуйста, и постучи, чтобы я смогла успокоиться.

– Нет, Вера Николаевна. Почему наш Юричик попал в автороту башкирского города Бирска, а оттуда в Афганистан? Как такое могло произойти? Вера, ответь!

Он перегнулся через стол и посмотрел ей прямо в глаза. Жёлтыми, неземными глазами. «Почему, Вера?»

Плуготаренко чувствовала, что сейчас у неё разорвётся сердце.

Не дождавшись ответа, умерший муж отвернулся. Оступаясь, пошёл. Понёс из кабинета уставшее своё галифе.

Вера Николаевна, вздрогнув, проснулась. Села в кровати, унимая сердце. Потом лежала, таращилась на уползающий от света машин потолок. Вспоминала...

2

Младший офицер связи, он почти каждый год приезжал к матери в свой отпуск. Из разных концов страны.

В первый день, в ожидании гостей, он всё время рулил своё галифе по коммунальному коридору на кухню и обратно. Таскал еду, которую готовила мать.

В одной из квартир, у раскрытой двери, вроде бы совсем безразлично, всегда сидела с книгой в руках школьница Вера Веденева, будущая его жена. Офицер в галифе и белой нижней рубашке, даже с тарелками и кастрюльками, ей очень нравился. По-детски она была уже тогда в него влюблена.

Один год он приехал с молодой женой. На другой год уже без этой молодой жены. Развёлся с ней. Пробегая с кастрюльками на кухню, он, конечно, видел, как читающая в раскрытой двери девчонка постепенно превращается в тощую, но грудастую деваху с острым носом. Он был свидетелем этого превращения.

В 59-ом году он приехал к заболевшей матери на три только дня. Уже совершеннолетняя Вера Веденева в какой-то момент, не помня как, оказалась в его комнате, за столом, среди галдящих гостей. Больная мать его, во главе стола сидела вконец исхудавшей паучихой. Только пошевеливала на скатерти вытянутые тощие руки. Уже ничего не могла ни контролировать, ни предотвратить. И когда гости разо-

шлись, Вера Веденеева, опять не помня как, оказалась за занавеской на кровати в объятиях быстрого, страстно просопевшего ей в ухо офицера Плуготаренко.

Девятнадцатилетняя, она запомнила только боль, резавшую её внизу, и больше ничего.

На другой день Вера была выходная, в больницу, где она работала санитаркой, ей не надо было, и они гуляли по зимнему белому Городу. Вера Веденеева очень гордилась, что ведёт под руку статного офицера в белом полушубке, в белой шапке, в сапогах и галифе. Две закутанные в шали кумушки долго оборачивались, спотыкались: «Самоварами своими, подлец, девчонку взял. Втрескалась по уши, бедная».

Вера даже специально провела Офицера по Белинского мимо трёхэтажного корпуса больницы, наблюдая, как по окнам мечутся суматошные халаты подруг-санитарок.

Побывали в кино на дневном сеансе. Потом в гостях у его знакомых.

Поздно вечером вернулись в «голубятню», в коммунальный свой дом. Поднялись на свой третий этаж.

Вера отказалась идти в комнату с его больной, но не глухой матерью. Тогда Офицер в коммунальном коридоре выключил свет, вскинул её на руки и распял прямо на стене. Как лягушку.

Он оказался очень сильным. Он удерживал её на стене и работал очень долго. Вере было неудобно на стене, больно круто вывернутым ногам. Она невольно думала, почему все

дома, где продается и покупается любовь, называют домами терпимости. Вера была читающей девушкой. Дома у неё как раз лежала начатая книга Эмиля Золя.

В темноте свезли со стены чей-то велосипед. Велосипед грохнулся и на удивление поехал. Офицер пытался поймать его и унять. Воспользовавшись этим, она шмыгнула в свою комнату и закрыла на ключ дверь. Сразу увидела вытянутое лицо матери за столом. «Ну-ка повернись! В чём это ты?» Вся спина у Веры была в извёстке.

Вера толкала измазанную шубку в одежду на вешалке, бурчала что-то, отворачивалась.

На третий день он уже уезжал, и Вера, отпросившись из больницы на полчаса, смогла проститься с ним только на вокзале. Он курил у вагона, всё время поглядывал на часы. Казалось, мало обращал внимания на востроносую девчонку рядом с собой, которая в лохматой шубке смахивала на тонконового чижики-пыжика.

«Ну, увидимся!» – сказал он, мазнул губами по её щеке, запрыгнул на подножку и сразу исчез за внутренней дверью вагона. Она шла, долго махала уползающему со станции поезду.

Месяца через полтора Веру Веденееву начало тошнить. И в больнице, и в коммуналке. На виду всего дома она постоянно выбегала к уборной у забора. Неизвестно, что написала сыну умирающая мать, но Вера вскоре получила от Офицера письмо, в котором он называл её «дорогой», «любимой»

и жаждал новых встреч.

Женщин младший офицер связи Иван Гаврилович Плуготаренко никогда не чурался. За годы службы в разных гарнизонах страны были в его победах как весёлые *морзистки*, подвижные, точно гольяны, так и задастые серьёзные штабные *бодистки*. И Вера Веденева была бы забыта, если бы не оказалась беременной от него.

К тому же Веденеёвы похоронили его мать, когда он лежал в армейском госпитале города Чита с больными почками. И этого Офицер тоже не забыл – как только его списали из армии, сразу приехал в Город. По телеграмме Вера встретила его на вокзале. Была она уже с коричневыми пятнами на лице и с острым гордым животиком.

3

Вера Николаевна торопилась, опаздывала на работу. Быстро таскала завтрак на стол.

Сын в коляске сидел среди склеенных коробок. Походил на бездомного в картонном разгромленном своём жилище. Где-нибудь в американском Бронксе или Гарлеме.

Присев, Вера Николаевна наскоро нашлёпала ножом масло на хлеб. Стала запивать бутерброд чаем. Сын с жёлтыми следами в углах рта от яичницы почему-то вяло возил её в сковородке. Подвинула ему бумажные салфетки: вытри рот. Из головы не шёл ночной сон.

– Юра, зачем нам эти коробки? Ведь хватает пока. Ты пособие получаешь, я зарплату. Не то всегда просишь у Коли Прокова. Сколько я тебе про телефон говорю? Ведь имеешь право. По закону.

На улице почти сразу увидела Прокова. Легок на помине! Хотела было перейти дорогу, догнать и поговорить о телефоне. Но Николай Проков шёл и натурально отбивался от какой-то маленькой женщины. Подступающей и подступающей к нему с разных сторон.

Вера Николаевна приостановилась. Это была Хрусталёва. Точно. Галька Хрусталёва. Маленькая прохиндейка. Всё такая же хайластая. С длинным, как продёрнутый стояк, горлом. Значит, уже отсидела, вернулась.

Не в силах побороть женского своего любопытства, Вера Николаевна чуть ли не цыпочках пошла по тротуару, поглядывая через дорогу на ругающуюся бабёнку. Даже забыла, что опаздывает на работу.

Хрусталёва что-то требовала у Прокова. Уже наскокивала бойцовым петушком, чуть ли не царапала ему лицо. В Обществе афганцев-инвалидов она появилась ниоткуда. В 91-ом году. Она не имела никакого отношения ни к парням-афганцам, ни к афганской войне. Она просто бегала по городу и втюхивала всякие гербалаи разом тупеющим пенсионерам и пенсионеркам. Однажды забежала к инвалидам на Белинского. Попала на общее собрание. Напористая, с трибуны она сразу объявила, что брат её тоже был афганцем, героем-афганцем, геройски погиб под Кандагаром. Никто слыхом не слыхивал о герое-афганце Хрусталёве из Города. Но все почему-то прониклись и загрустили. Освободили даже место ей в первом ряду, согнав с него простого ветерана без правой руки.

Через неделю она уже занималась в Обществе всеми финансами. Лихо крутила калькулятор, лихо щёлкала на печатной машинке. Почти сразу переспала со всеми рабочими членами Актива. И сам Проков в её цепкие ручки попался, и его заместитель Громышев, и одноногий Кобрин. И даже слепой Никитников. Всех жалела и ублажала Галька Мать Тереза. Её явно тянуло к обнажённым стесняющимся культурам инвалидов-афганцев. И к верхним, и к нижним. Проко-

ва она всегда просила отцепить черную кожаную руку. По-роднившиеся активисты явно смущались друг друга. Когда приходилось сидеть за одними столом, опускали глаза. Все четверо были женаты, имели детей.

Вера Николаевна застала однажды её даже у себя дома. Но целые, хотя и недвижные ноги сына-инвалида, стоящие на приступке коляски, по всему было видно, Хрусталёву не впечатлили. Только похлопала инвалида по щеке и ушла. Вере Николаевне стало даже обидно – будто её сын не сдал экзамена, не дотянул до аттестата.

Через полгода Хрусталёва исчезла. Со всеми деньгами Общества. В распахнутом сейфике Прокова осталась валяться гроздочка ключей и лежала записка, в которой прочитали: «Я буду скучать». А ниже увидели большое нарисованное пиковое сердце. Пронзённое к тому же не одной, а целыми пятью стрелами.

Её поймали где-то в Сибири, но судили в Городе. На суде были и каменные лица обманутых жён, и стиснутые зубы беспомощных активистов. Галька орала, не жалела никого. Пыталась утащить за собой Прокова и Громышева. Но не смогла – адвокаты отбили.

И вот она вернулась. Да-а, что ждёт теперь весь рабочий Актив? Куда они побегут? Кто в какую сторону?

С улыбкой Вера Николаевна открыла высокую дубовую дверь горсовета.

На столе уже лежало несколько папок с документами. Се-

годня подкинула бухгалтерия. В небольшой комнатке горсовета Вера Николаевна уже три года сидела «на архиве». Кабинетом комнатку назвать, наверное, было нельзя, но всё же на двери, снаружи, как у всех, отблескивала стеклянная табличка с крупными буквами – «АРХИВ».

Синекуру эту помог получить Вере Николаевне Зимин Михаил Андреевич. Начальник транспортного отдела горсовета. Верный друг погибшего мужа. Друг ещё со времён «голубятни» на Комсомольской. Где Плуготаренки и Зимины прожили рядом не один год.

Голубятней дом горожане прозвали не зря – четырёхэтажный кирпичный коробок действительно походил на голубятню, стоящую в большом дворе на отшибе. Единственный, как подкоп, вход в коробок напоминал оживлённую фабричную проходную. Вечернюю или утреннюю. Днём возле «голубятни» было пусто. Даже дети всего большого двора – вездесущие – возле неё не задерживались, только промелькивали.

В коммунальном коридоре третьего этажа Офицер в галифе направлял своего Юричика на велосипеде, избегая столкновений с ларями, ванночками и тазами, стоящими вдоль стен и висящими на них. С другого конца коридора таким же макаром вёл велосипедик со своей дочкой Миша Зимин. Юлечка и Юричик встречались на середине коридора и останавливались. Юричик сердито осаживал педали, будто буксовал. Юлечка тоже осаживала, но с улыбочками, как

мяукающая кошка. Отцы разводили их и вели в разные концы коридора. Чтобы они могли там повернуть назад и вновь встретиться. Чтобы осаживать, покачивать себя на месте. У обоих сиденья велосипедиков были красивыми, как турецкие фески – с кисточками.

Под тепло светящим абажуром у Плуготаренков вечерами после ужина играли в лото. Две супружеские пары. Не очень молодой уже Плуготаренко тряс мешочек с бочатами под столом. Словно в непомерном своём галифе. По сравнению с ним, молодой ещё Миша Зимин, служил в армии уже в конце пятидесятых, однако от химического ожога там же в армии имел липкую, как яичница, щеку и постоянную вкусную папиросу в углу рта. Спокойно выкладывал на своих карточках «квартиры». От неиссякаемых его баек, от анекдотов – за столом покатывались. Офицер, хотя и повидал немало, так свободно, как Миша, рассказывать не мог, поэтому только смеялся. Изнемогал от смеха. И почему-то стоя. Словно чтобы не мешать свисать своему галифе. Две совсем молодые женщины болтались, раскачивались как наливные матрёшки. Боялись только одного – от смеха лопнуть.

На расстеленном одеяле дети играли на полу. На взрослых внимания не обращали. Юлечка по очереди пеленала двух целлулоидных куколок, Юричик сердито возил один и тот же поломанный мотоцикл. С плоским пригнувшимся мотоциклистом.

– Ну, как ты тут?

Прикрывая за собой дверь, в Архив входил Михаил Андреевич Зимин.

Подошёл, поздоровался, коснувшись губами щеки Веры.

Сидел у стола, постукивал пальцами по оргстеклу. Спросил «про Юричика». Как он там? Фотографирует? Как его успехи?

Зимин считал себя в некотором роде крёстным Юрия как фотографа. На день рождения года три назад Михаил Андреевич подарил имениннику фотоаппарат «Зенит». Первый фотоаппарат в жизни Юричика. Высмотрел в универмаге и купил по какому-то наитию. Никак не предполагая, во что всё это выльется у Юричика.

Вера Николаевна будто не услышала вопросов. Вера Николаевна рассказала про коробки.

Зимин не понял.

– Ну склеиваем теперь коробки, понимаешь? Картонажный цех теперь у нас в квартире.

Женщина смотрела на смеющегося, махающего рукой мужчину. Грузного, с поредевшими, как ковыль, волосами, но всё с той же весёлой яичницей на щеке.

– Зачем нам это, Миша? Хоть ты ему скажи.

Мужчина перестал смеяться. Вытирал платком глаза, По-

смастривал на женщину. Перед ним сидела старая уже дятла пятидесяти пяти лет. С острым носом, с растрёпанным коком на голове. Опустил глаза:

– Радуйся, Вера, что не поддаётся он, не ломается. Сколько таких, как он, уже спились да повесились.

Посидел и добавил:

– Мне жаль, Вера, что не сошлись они тогда, в 82-ом. Он и наша Юлька. Честное слово, жаль.

Поднялся и пошёл к двери.

– Эко вспомнил! Столько лет прошло!

Вера Николаевна нахмурилась.

В 82-ом году, когда привезла сына из госпиталя в Город, на перроне неожиданно увидела всех Зиминых. Мать и дочь шли вровень с останавливающимся вагоном, поигрывали ручками окну, где мелькали сумасшедшие длинные руки чёрта. То есть Юричика. Однако когда сильный Михаил вынес им смеющегося инвалида как подарок, губы матери и дочери сделались одинаковыми, как у рыб – скорбными скобками. В глазах обеих возникал один и тот же вопрос: почему он всё время смеётся? Он что – с курорта приехал?

В служебном автобусе Михаил показывал Юричику пролетающие новые дома. Чтобы как-то приглушить неостанавливающийся смех инвалида, как-то оправдать его, сам хохотал. От своих же, поспешно рассказываемых анекдотов.

Мать и дочь сидели впереди. С двух сторон удерживали Веру Плуготаренко. Как онемевшие две плакальщицы с чёрно-белой фотографии. Оглушённые встречей, забыли даже все подбадривающие слова, какие надобно говорить в подобных случаях.

Вера Николаевна часто вспоминала потом ту встречу на вокзале. Не забыть было испуганных глаз матери и дочери. Как поворачивались они обе, когда инвалид начал гонять вокруг них на коляске. Как непроизвольно прижимали к бёдрам руки, зажимались, точно инвалид стремился задрать им

обеим платья...

Чтобы отвлечься от воспоминаний, Вера Николаевна, начала собирать на столе все папки. Понесла их обратно в бухгалтерию. Снова притащили в Архив без подписей комиссии!

В обед опять увидела сына за работой. Прижимая линейкой, сын старательно загибал картонные заготовки. Неожиданно для себя сказала. Почти словами Зимина:

– Зря ты не сошелся после Афганистана с Юлей.

Сняла тесные туфли и прямо в чулках, разминая ступни, пошла на кухню.

– Это для чего же? – прикатил на кухню сын.

– Внуки бы у меня теперь были. Вот для чего.

Вера Николаевна пустила в кастрюлю воду дляпельменей.

Поставила кастрюлю на газ.

С надсадой сын начал «доказывать» матери:

– Мы же с Юлькой знали друг о дружке всё, мама! Мы же танцевали вместе с детства! Как в балете балетная пара! В которой мальчишка и девчонка даже не видят друг в друге противоположного пола. А вы все хотели, чтобы она пожалела меня после Афгана. Что бы из этого вышло?

– Да она же приезжала к тебе в Бирск, писала потом письма!

– Ну и что?

Молча ели куцые, как обкусанные, покупные пельмени. Забывая макать их в порошковую сметану.

Юлька приезжала к нему в Бирск, как оказалось, за три дня до отправки автороты в Афганистан. Капитану Лиходееву он зачем-то доложил тогда, что к нему, рядовому Плуготаренко, приехала не просто девушка, а невеста. Чтобы солидней выглядело это. Однако когда вышел на минуту за КП, сразу спросил у неё: «Ты зачем явилась сюда?» Увидев, что за ним наблюдают улыбающиеся рожицы в пилотках, тут же профессионально зажал невесту. Как на съёмке, как киноактёр. Поцелуй длился всю отпущенную ему минуту. «Раз! Два! Три! Четыре! Пять! – считали на КП. – Давай, Плуг, ещё! Ещё!» (Странно, успела удивиться тогда Зимина Юлия: непонятным образом школьное прозвище Юрки – «Плуг» перетасилось за ним и сюда, в армию.)

На второй день, получив увольнение, водил Юльку по городку. В парке к ним прибился Генка, напарник по экипажу, тоже болтающийся в увольнении.

– Гена, – представился он Юльке и пожал ей ручку. От родителей ему одновременно достались и фамилия и прозвище. Поэтому добавил: – Лапа.

Так. Понятно. Гена Лапа и Юра Плуг. Два друга теперь. В одном экипаже.

С бутылками портвейна и едой отправились в небольшую гостиничку, где Юлька уже ночевала.

В комнатке на втором этаже выпивали, закусывали. Невеста спрашивала про Афганистан. Парни были добродушны: ерунда, не отправят нас, слишком далеко мы от границы.

Потом все трое несколько отупели. И от выпитого, и от разговора. Деликатный Лапа всё порывался уйти, чтобы оставить жениха и невесту наедине. Плуг всякий раз хватал за рукав, сразу наливал в стакан.

Наконец Лапе всё же удалось уйти. И они вдруг начали раздеваться. Словно не могли уже остановить раскрученного ими самими дурацкого какого-то маховика. Какой-то балаганной карусели, на которую нужно теперь непременно запрыгнуть.

Потом лежали на полу, на одеяле, укрощали дыхание.

Молчком быстро одевались. Точно опаздывали.

В этот же день он проводил её на автовокзал, посадил на автобус до Уфы, до железной дороги. У неё начинались занятия в мединституте в Москве. Куда она как раз перед поездкой к нему успешно поступила.

А на следующее утро автороту подняли по тревоге. Через полчаса колонна из зелёных грузовиков уже поползла от низины у реки в гору, чтобы выехать там на Уфимский тракт.

На грузовой станции «Уфа» погрузились на открытые платформы, и зелёные грузовики с солдатиками при них отправились, как оказалось, к афганской границе.

Юлька была на станции. Шла и махала двум парням в выгоревших гимнастёрках, уплывающим со своим грузовиком, схваченном на платформе проволочными растяжками. У парней от мужества и задавливаемых слёз сводило скулы.

6

Отвернувшись к раковине, мать мыла посуду.

– Сегодня видела ещё одну твою невесту – Хрусталёву.

Отсидела. Вернулась, стервозка. – Вдруг начала смеяться: – Баннова уже плещет по городу, что весь ваш Актив разбежался. Галька гоняет. Ни один на работу не ходит. Даже сам Проков у кого-то на даче прячется. У себя дома все ставни закрыл – боится, что Галька стёкла повышибет. Хих-хих-хих! И смех, и грех! И где вы теперь будете прятаться от неё? Хих-хих-хих!

Сын покраснел. Разом вспомнил всё. Методично мотающуюся головёнку у себя в паху. Себя самого – размахивающего руками, закидывающего голову, пропадающего.

Нормально у него в первый раз не получилось. Она лихо запрыгнула к нему на коляску, мгновенно соорудила из себя, инвалида и коляски совершенно новую функциональную камасутру. Она ёрзала по вялому его достоинству и, казалось, от этого ловила ещё больший кайф. Не ухватись Плуготаренко за стол – в конце она бы точно опрокинулась назад со всем сооружением.

А уж потом, после небольшой передышки, и замоталась крашенная головёнка. Замоталась как чёрненький прах.

Мать пришла уже перед уходом её (головёнки) и ничего вроде бы не заметила.

Приходила Хрусталёва ещё несколько раз. Плуготаренко по привычке к ней, у него стало получаться. Готовился к её приходу, прибирался в квартире. Сделал даже удачную, на его взгляд, одну чёрно-белую фотографию. На ней Галя, обнажённой, сидела в его коляске. Свет от окна падал так, что почти вся она скрылась в тени. Слегка высвечена была только правая грудь её. Грудь красивая. Прямо-таки грудь Мадонны, уже высвобожденная младенцу. Хотел даже преподнести фотографию ей. Но когда она смылась с деньгами инвалидов, снимок порвал. «Мадонна чёртова!»

Проков после своего позора на суде пришёл с поллитрой. Уже хорошо поддатым. На кухне стучал стаканом в стакан друга, заглатывал водку, жаловался, что жена Валентина грозитя теперь разводом. Сын Женька тоже смотрит волчком. Что делать, Юра? Покачивался, мучился, удерживал чёрную протезную руку словно больную судьбину.

Плуготаренко утешал, поддакивал. Но когда Проков, всё кляня себя за то, что поддался когда-то Хрусталёвой, начал доносить подробности своих свиданий с ней, Юрий сразу увёл глаза. Почувствовал себя каким-то двойным агентом. Внедрённым агентом. Не разоблаченным ещё, но всё равно двуличным. Подлым.

Пришла с работы мать, и пьяный Проков начал было опять про роковую ошибку свою с Хрусталёвой, через слово трындя «Вера Николаевна! Вера Николаевна! Послушайте!» Однако та прервала его:

– Да она даже к Юре подкатывалась! Коля! К Юре! Да я пришла, помешала, не дала ей.

Проков вскочил, затряс руку друга:

– Спасибо, Юра. Спасибо!

И под внимательным взглядом матери Юрий, встряхиваемый Проковым, опять увёл глаза в сторону: «Да ладно, чего уж, бывает». Дескать, устоял он тогда, не поддался.

Мать хмурилась, чувствовала что-то, поджимала и без того поджатый птичий рот.

Главное, что Плуготаренко понял тогда после Хрусталёвой, – он сможет жить с женщиной. Как мужчина. Однако мать, по всему было видно, сильно сомневалась, что парализованный сын годится для таких дел. Больше ехидничала. Всё время проходила даже по фотографиям, снятым сыном. И Собачьей Мамы, и особенно фотографиям Ивашовой. Не раз специально торчала дома, когда Наталья приносила пособие. Хотела защитить его от неё как-то. Или, на худой конец, хотя бы отвлечь.

Верила она только в одну невесту для сына, которая сможет помочь ему. В Юлию Зимину. И то потому, что та стала врачом. Мать надеялась: есть какие-то средства и Юлька поможет, вылечит. И всё будет хорошо: у них дети будут, а у неё внуки.

Когда смотрели какой-нибудь фильм по телевизору, нередко в сладких его местах, где герой классически загибал невесту в поцелуе, или того больше – при сценах постельных

– она непроизвольно поворачивалась к сыну, по-видимому, терзаясь – сможет он так или нет. И ответа не находила.

Перед уходом в свой горсовет она опять завела о телефоне. Чтобы ехал к Прокову, просил, требовал, добивался.

– Ну сколько можно воду в ступе толочь, мама? Не надоело?

Нет, Вере Николаевне не надоело. Она хотела, чтобы положенные льготы сын получил сполна. Хотела телефон, машину. Хотя бы такую, как у Громышева. Машинёшку. С ручным управлением. Чтобы сын свободно гонял по городу, трещал, завивал за собой дым. Ну и она иногда рядом с ним

Ушла, наконец. Плуготаренко сам стал одеваться. Чтобы поехать не в Общество, куда гнала мать, а к Сатказину и Адамову. В парк.

В дверь позвонили. Зоя Мякишева. Дворничиха. За руку с сыном Колькой. Всё таким же. С большой головой. В пожизненных своих колготках. Правда, сегодня без писюна наружу. Дырку заштопали.

– Юрий Иванович, выручайте! Не с кем оставить Кольку. Часа на четыре. Пусть побудет с вами. А?

Слишком много Колек вообще-то. Кобрин Колька. Проков Колька. Этот вот тоже Колька. Притом Колька-путешественник. Недавно еле нашли его на Холмах. Присев, разглядывал как мину морскую, вымя у чьей-то дойной козы.

Плуготаренко отъехал: заходи! Бродяга пяти лет радостно забежал.

Минут через десять уже гнали по Лермонтова в парк. Колька сидел на коленях у инвалида, дёргал с ним рычаги, трещал, брызгался слюнями.

В парке гигантский неустойчивый человек из латекса, нагнетаемый воздухом, ломал свои ноги и руки на глазах у публики. Колька побаивался неустойчивого человека. Колька ходил вокруг недвижной карусели, как вокруг поникшей цыганской пляски. Не узнавая её. Плуготаренко неподалёку разговаривал с Адамовым и Сатказиным.

Зарегистрированная фирма «АДАМОВ И САТКАЗИН ФОТОГРАФИЯ И ЖИВОПИСЬ» прописалась в парке давно. Длинный тощий Сатказин споро рисовал карандашом портреты самодовольных горожан и кокетливых горожанок, выхватывая их прямо из идущего потока и усаживая на брезентовый стульчик. Широкозадый, с маленькой головкой Адамов ходил по кустам вроде сутулого контрабаса, на который навесили фотоаппарат. Он пристраивал к кустам небольшие группки туристов, чтобы снять их художественно.

Прошлым летом на своей территории они неожиданно увидели инвалида с фотоаппаратом. Гоняющего на коляске и снимающего всё подряд. И людей, и всю природу вокруг. Они подбежали к нему с гневными кулаками. Но, как быстро выяснили, инвалид оказался неопасным: снимал всё только для себя, для забавы.

Сегодня инвалид показывал коллегам заедающий в фото-

аппарате затвор. Свою беду. Случившуюся утром. Сатказин и Адамов тут же склонились над поломкой. И отвёрточка откуда-то взялась. И даже лупа.

Минут через пять, приняв от них камеру, Плуготаренко два раза проверочно сфотографировал парковый иссохший фонтан. «Окончательно проигравшаяся рулетка, – подмигнул умельцам, – А?»

Деньги за работу протянул им с благодарностью. «Да ты что, Юра!» – с возмущением попяtilись те.

Тогда пожал им руки, возле киоска напоил Кольку фантой и погнал с ним домой.

Уже на Лермонтова неожиданно увидел Ивашову. Наталью Фёдоровну! Тут же догнал.

Смеялся, как всегда непрерывно говорил.

Однако Наталья мало понимала его. Наталья во все глаза смотрела на Кольку в его руках, забыв даже поздороваться. Смотрела, как на его сына. Как на какого-то маленького кенгурёнка, который выглядывает из материнской сумки. Который сердито брызжется сейчас слюнями, не выключает «мотор», недовольный, что из-за неё прервалось движение их автомобиля.

– Завтра 23-е, Наталья Фёдоровна! – прощаясь, напомнил радостный инвалид. – Жду вас!

И коляска покатила дальше. Инвалид и мальчишка опять заработали руками слаженно. Как какой-то двойной тянитолкай!

В квартире Семибратовой всё так же едко пахло корвалолом. Старуха цепко пересчитывала деньги. Вдруг остановилась, прерывисто вдохнула и повалилась на пол. Вперёд лицом, взмахнув рукой с деньгами.

Ивашова – неудавшаяся студентка медучилища – в испуге отшатнулась. Тут же кинулась, стала поднимать. Тощая старуха оказалась просто неподъёмной. Будто куча железа. Кое-как завалила её на диван. «Спасибо, милая, спасибо, – уже шептала Семибратова. – Нитроглицерин там. На буфете». Наталья начала быстро перебирать целую аптеку пузырьков и таблеток на столешнице буфета, роняя их на пол. Нашла, наконец, крохотный пузырёк. Таблетку кинула в раскрывшийся рот – испуганно. Будто в серый кошель. Старуха загнала таблетку под язык.

Точно листья после порыва ветра, везде валялись разлетевшиеся деньги. Наталья принялась ползать, собирать. Семибратова, казалось, не смотрела на неё, лежала лицом вверх. Однако спросила: «Сколько там насчитала, дочка?» Наталья сказала, вложила деньги старухе в руку. Та сразу прижала их к бедру.

Потом от соседей вызывала «скорую», ждала её. Примчался на машине испуганный сын. За ним сразу «скорая». Старухе сделали два укола, и она забылась. «Гипертониче-

ский кризис» – сказал тяжёлый фельдшер в белом, больше смахивающий на мясника с рынка. Все, кроме сына, пошли из корвалольной квартиры. Семибратова осталась лежать с раскрытым, торопливо дышащим ртом.

Наталья сидела на скамейке возле дома, приходила в себя. Неудавшаяся медичка, она недолго проучилась в медучилище. Её привела и заставила поступить в него Таня Зуева, подруга, сама уже закончившая его.

В анатомичке Наталья два раза упала в обморок. Там же, в приёмной анатомички, её однажды после занятий попытался изнасиловать преподаватель Малышев. Он удерживал её на единственном анатомическом столе приёмной как не дающуюся, всю в слезах белугу и приговаривал: «Ну же, ну же, Ивашова, не брыкайся! не плачь, дело житейское! ну же!» Когда ему показалось, что девушка укрощена и можно приступать, толстуха вдруг взбрыкнула так, что он отлетел к двери, упал там и сломал руку. Об этом Наталья не рассказала никому. Даже Тане. Чтобы не видеть каждый день трясущую мордочку Малышева, его загипсованную руку, сама забрала в учебной части документы. Тане же сказала, что не может делать уколы. На практике. Что не её это. Впрочем, так оно и было. Руки её тряслись. Старушечьи серенькие попки казались ей убитыми черепахами – она боялась обломать о них иглу. В общем, ушла.

Время подходило к шести. Наталья успела выдать деньги и медлительному персональному пенсионеру в сталинской

квартире, и старичку на четвёртом этаже, опять предложившему ей стать его прачкой. Ровно в шесть принесла сумочку с остатками денег и ведомостью, сдала всё в кассу под расписку. Вахрушева хмурилась, чем-то недовольная. Врубила звонок только в семь.

Дома после скромного ужина – стакана кефира и печенья (хватит обжираться) – Наталья привычно включила телевизор.

Шла передача о загнивающем Западе, об акулах империализма. Постоянный ведущий, невысокий, в очках, несмотря на то, что беспрерывно говорил, стоять на месте не мог. В брючках в обтяжечку, всё время переминался с ноги на ногу. Вроде сексуального таракана, готовящегося к случке. Иллюстрацией к его словам сразу же был дан сюжет о спорте и развлечениях на Западе. Две команды инвалидов-колясочников выезжали одновременно на площадку Дворца спорта, чтобы начать гандбольный матч. С идущими рядом тренерами двигались вроде псов на поводках на выставке собак. Ушастый, как гоблин, духовой оркестр гремел. Девки слаженно, дружно прыгали с бумажными букетами на руках. Болельщики неистовствовали. Наталья с интересом ждала. Но когда начался как с цепи сорвавшийся хаос на площадке, когда начали носиться, сшибаться, падать коляски – кинулась, выключила телевизор. Как придавила всё. Словно чтобы Плуготаренко-инвалид не увидел.

Под светом торшера пыталась осилить «Ювенильное мо-

ре». Медленно, по два, по три раза перечитывала некоторые предложения. Некрикливая, словно бы даже стесняющаяся самоё себя графомания автора поражала. Но и завораживала, держала за уши...

Девчонкой Наталья очень любила уроки литературы в новоявленной школе-десятилетке. Не блистала она там ни в математике, ни в физике, ни в химии, ни даже на уроках физкультуры во дворе. Зато уж уроки литературы и русского языка – были её. И у Галины Семёновны в младших классах, и у Лидии Павловны потом в старших получала только пятёрки.

В книге «Детство» Максима Горького мальчик Алёша постоянно читает книжки. Получает тумаки, его дерут за волосы, но он читает.

Так было и у Наташки Ивашовой. Она читала запоем. Нужно вечером орущую корову доить – Наташка читает. Её гонят картошку окучивать в поле, она, не дойдя до поля, читает в лесопосадке.

Домашние чисто по-сельски считали такое чтение блажью, капризом. В деревне с огородом, с коровой, свиньями да птицей не больно-то считаешь. В домашнюю страду, заставая её с книгой, кричали на неё, только что не гоняли по двору и в доме. Брат Вовка однажды одел ей на голову пустое ведро. Будто рыцарю Дон Кихоту, про которого она как раз читала. И сыграл на ведре костяшками пальцев марш. То-то потеха всем была!

Чтение Наташки не смог победить даже появившийся в доме первый телевизор. Вечерами все прилежно пялились в него, а Наташки, склонённой над книгой, в комнате словно бы и нет. Все покатывались над Папановым-Мироновым-Никулиным. Наташка со склонённой головой – всего лишь над каким-то Бендером, как будто тот прятался в книге и строил ей оттуда уморительные рожи.

Единственным человеком, понимающим её – была Танька Зуева, закадычная подруга. Её всегда поражало, как легко и даже артистично Наташка читает вслух. Проговаривая каждое слово, букровку. Смотрела на подругу как на волшебницу, на чародейку. Вот уж правда – как по писаному! Сама Танька так не могла, она любила больше слушать.

В приёмной комиссии пединститута в Городе удивились: толстая абитуриентка из Новоявленки сочинение написала на отлично, а по русскому устно получила тройку. «Как же так получилось, девушка?» – спросил у неё председатель комиссии, похожий на длинношеего гусака с бабочкой и в очках. Абитуриентка, из-за полноты казавшаяся старше своих семнадцати лет, задрав голову, пошла к двери. С ягодицами независимыми, как мячи.

...Наталья отложила «Ювенильное море», легла, выключила свет.

Среди ночи ударили звонки междугородней. Наталья вскочила, бросилась в прихожую, схватила трубку.

– Да-да! Слушаю!

Звонила Таня Зуева. Из Африки. Из Адис-Абебы. Наталья кричала вдогонку своим трассирующим, не затихающим словам. Выслушивала такие же, эхом прилетающие ответы Тани. Снова кричала.

Возбуждённая разговором, долго не могла заснуть.

Когда пришлось бежать от Лёньки Троеглазова, мужа вроде бы второго, в Городе её приютила Таня. Взяла к себе вот в эту квартиру. Помогла устроиться на работу на мебельный комбинат, где подрабатывала в то время процедурной сестрой в кабинете лечения мебельщиков-алкоголиков. Там же Наталья вскоре получила место в общежитии. Её подселили в комнату к трём хмурым женщинам. Недовольным её подселением.

Зуева ругала подругу за глупое решение перейти в общагу. Но помогла дотащить ей один из двух неподъёмных чемоданов. (В чемоданах у читающей подруги были книги. Художественная литература. Для одежды читающей подруге хватило одного заплечного рюкзака. Благо пальто и куртку тащить отдельно не надо. На читательнице они. Зима.)

Первый взнос за свою квартиру Наталья накопила к 90-му году. И уже подходящий кооператив подобрала. Тоже не без совета и помощи Тани. Но вскоре пришла беда – младо-реформаторы с горящими глазами рубль обрушили. И, как миллионы сограждан, Наталья потеряла всё. Ни о какой своей квартире в наступившие лихие времена и мечтать даже теперь было нечего. Наталья два года плавала под парусами

и флагами городских барахолок. В общем-то, простым матросом. Сама челночить боялась, ни разу никуда не съездила, своих точек не имела, а всё больше была на подхвате. Чаще у Тани Зуевой, которая в то время уже бросила работу в больнице и заделалась бойкой торговкой. Давали работу на базарах и бывшие товарки по комбинату, который благополучно умер уже в 91-ом году.

Когда литые парни в куртках-косухах железными прутьями погнали всех оставшихся жильцов из комбинатовского общежития – Таня и тут подставила плечо, взяла обратно к себе в двухкомнатную.

Ну а потом был Алексей Сергеевич Круглов, неожиданный выигранный билет Тани.

Первоклассный хирург, приехавший в Россию в отпуск, работавший когда-то с Таней, решительный Круглов через неделю расписался с ней и сразу после свадьбы увёз с собой в Африку. Работать по контракту. В качестве хирургической сестры при первоклассном хирурге. Ну и жены теперь, конечно. Наталью, оставленную стеречь квартиру и платить за неё, теперь можно было принять даже за хозяйку.

Глава третья

1

Придя с пособием к инвалиду в первый раз, Наталья сразу увидела книги в застеклённом шкафу. Пёстрое множество книг. И отдельные тома, и монолитные ряды подписных изданий. Чёрт побери-и! Какое богатство!

Однако как только инвалид примчался из кухни с чайником и заварником – от шкафа сразу отошла.

Всякий раз потом подмывало спросить, кто хозяин этого богатства, кто собирал эти книги: он сам или его мать? Или оба они книгочеи? Но раскатывающий инвалид, как всегда, подавлял её собой, не давал рта раскрыть.

Несмотря на неудержимые фейерверки, речь его была связной и довольно грамотной. Хотя и попадался в ней разного рода сор, чаще слова-паразиты: «короче», «как бы», «типа», «так сказать». Но всё это наверняка тащилось ещё из школы, из детства его. Поэтому определить, читает ли он сейчас – не могла.

Всё чаще он заводил разговор о местном драмтеатре. (Неужели бывает там на спектаклях? Но как? В коляске?) Сама она мимо театра как-то прошла. К сожалению. В юности в драмкружок в клубе не взяли – бесталанна. В Городе

дважды сходила в театр в куче с товарками, с Вахрушевой. Тексты же пьес, попадающиеся в журналах, всегда казались голыми, обеднёнными, из-за постоянных ремарок хромающими, на костылях. Поэтому Наталья и их редко до конца дочитывала.

23-го утром она опять увидела в знакомом окне наставленный на неё фотоаппарат. Хотела пройти дальше, к дому со стариками-пенсионерами, но неожиданно повернулась и пошла прямо на окно с фотографом. Пошла как на амбразуру. (Плуготаренко непроизвольно пятился, однако быстро щелкал кнопкой затвора.)

– Почему вы снимаете меня, Юрий Иванович? – глядя в пол, спросила она его после того, как пособие было выдано, подпись получена, и чай в стакан ей налит.

– Вы мне нравитесь, Наталья Фёдоровна, – неожиданно тихо ответил инвалид, остановив коляску.

– Не нужно больше этого делать. Ничего из этого не получится.

Наталья пошла к двери. Приостановилась:

– Деньги вам будет приносить другой человек.

Вышла.

Плуготаренко остался сидеть, опустив голову, с руками вроде ботвы.

Наталья шла по улице, сволочила себя. Готова была себя убить.

Останавливалась и словно спрашивала у пустоты перед

собой: зачем обидела человека? Почему? Ведь хотела спросить его о книгах. Поговорить о них. И вот – пожалуйста – выдала бедняге. Сволочь баба! Сволочь!

Решительно повернула назад. Вошла в подъезд. Чуть поколебавшись, надавала кнопку звонка.

– Юрий Иванович, ради Бога, простите меня! Сама не знаю, что на меня нашло. Простите! – Повернулась, сошла с трёх ступенек. И Плуготаренко успел увидеть только крупные женские ноги, на миг высветившиеся в открытой двери подъезда.

Почти сразу там появились другие ноги. Ноги матери. Похожие на две чёрные клюки.

– Была, что ли, уже? Получил? – запыхалась даже, бедная.

Ели на кухне. Душа у Юрия Плуготаренки ликовала. Как эхо увиденной фотографии, перед глазами всё время возникало женское тело в свете подъезда, колыхнувшееся в просвеченном платье, что тебе крупная рыбина с хвостом.

Мать была переполнена своим.

– Знаешь, кто приехал?

Сын не знал.

– Юлечка!

Во как – «Юлечка». Несостоявшаяся невестка. Однако новость. Значит, теперь потащат на встречу.

А мать уже говорила, что ему нужно надеть для вечера. Уже вынимала из шкафа его новый костюм, чтобы срочно подгладить.

2

На ярко освещённой веранде дачи Зиминых Плуготаренко сидел в коляске, повязанный большой белой салфеткой, до пояса закрывшей его новый костюм. Ему подавали в коляску сначала тарелочки с закусками, потом жаркое. Рюмка с водкой стояла на тумбочке рядом. Он брал её, когда к нему тянулись чокаться.

За столом тётя Галя и дядя Маша сидели красными, пылающими. В растерянности смотрели, как после лихих рюмок дочь по-мужски наморщивалась и выцеливала вилкой сопливый рыжик или кусочек селёдки. Освоив водку, закусив, продолжала вяло рассказывать провинциалам о своей жизни в Москве. Она работала уже старшим научным сотрудником. В этом году от обесцвеченных волос лицо её было каким-то блеклым, не обременённым большими мыслями. Два года назад после Юга – она походила на негритянку из самодеятельности. С лицом в зольных пятнах. Загар не шёл ей. При поцелуе Плуготаренко опасался измазаться об неё.

Тогда она явилась к папе с мамой после развода. Наедине она сказала другу детства: «Он путался с моей подружкой. Он называл её – Медовая дынька. Представляешь?» – «Как ты узнала? – смеялся Плуготаренко. – Подслушала, что ли?» – «Она сама мне сказала. А я у него, наверное, проходила в ранге Арбузной корки. Мерзавец». Плуготаренко хохотал.

Сегодня, наевшись и напившись, она спокойно закурила. Будто одна за столом. Ужин закончен. Стряхивала пепел в блюдце, думала уже о чём-то своём.

Перед сном вдвоём гуляли в тёмной алее вдоль дач. Ночные тополя стояли согбенно, будто монахи.

– Слушай, Юрка, только честно – ты сейчас можешь? Сохранилось у тебя всё?

Плуготаренко остановил коляску, захохотал, поражаясь вульгарности москвички.

– Ты что стала такой бесстыжей, Юлька?

– Значит, можешь... – подвела черту Юлька. – А то тётя Вера, бедная, всё пытается расспросить меня об этом. Так что не разочаровывай её. Женись.

Дальше Плуготаренко узнал, что сейчас она приехала к маме с папой опять после развода. (Второго или третьего?) Что сволочь Жигачёв (последний муж) добился размена её однушки, и теперь живёт она в Химках-Ховрино в квартире с тремя соседями.

– Весело теперь мне, Юрка. Помнишь нашу Голубятню? Вот теперь я опять в такой же.

На даче их ждали. Светились три окна столовой. Они остановились возле высокого крыльца, куда Плуготаренке ещё предстояло взобраться не без помощи сильного дяди Миши.

Руку друга детства Юлька держала двумя руками.

– Юра, мы с тобой росли как брат и сестра. Мы знали друг

о дружке всё. (Точно. Это были вновь повторённые слова самого Плуготаренки.) Ты можешь мне не поверить сейчас, но после невольного нашего инцеста тогда в Бирске, я ведь забеременела.

Юлька как захлебнулась последними словами, замолчала. Плуготаренко сжал её руки.

– Мне сразу в Москве пришлось сделать аборт, Юра. Подумай: хороша бы была беременная первокурсница. Только что поступившая учиться. Об этом до сих пор не знает никто. Ни мать с отцом, ни тётя Вера.

Она опять замолчала. То ли плакала, то ли просто смотрела в небо.

– А в общем, Юра, Бог наказал нас обоих. Ты домой вернулся в коляске, а я стала пустой. Не из-за тебя, конечно. Были потом и ещё аборт. И с первым мужем, и со вторым. Всё за ними тянулась, лезла. Тоже хотела сделать карьеру. Дальше кандидатскую нужно было защищать. Потом этот гад Жигачёв. В общем, не будет у меня теперь никогда детей, Юра.

Юрий Плуготаренко долго не мог уснуть в ту ночь. Вспоминал всё, что произошло в Бирске. Себя – идиота. Несчастную Юльку. Щемило душу.

Потом над дачным посёлком проходила гроза. Постоянно вспыхивало в в двух окнах второго этажа, гремело. Дом казался живым, поскрипывал половицами, вздыхал. Посапывания матери, спящей на диване, были безмятежными, ров-

НЫМИ.

На другой день Юлька уехала. С Мишей и Галей Вера Николаевна провожала её на вокзале. Уже попрощавшись, Юлия Зимина вдруг обняла Веру Николаевну и заплакала. К немалому изумлению той и растерянности родителей. Махала из двинувшегося вагона, промокала красные глаза платком.

Любящая логику, порядок во всём, Вера Николаевна дома целый день никак не могла сложить головоломку. Помнила на своём лице горячую щеку плачущей женщины. Укоризненно поглядывала на сына: что у них там вчера произошло? В дачной аллее? Что?

Между тем Юрий сидел с фотоаппаратом у окна и ощущал себя охотником, который впервые промазал по утке. И не промазал даже, а вообще не смог поднять на неё ружья. Десять минут назад какой-то мужчина провёл мимо коляску с женщиной-инвалидом. Молодая женщина сидела со скрюченными кулачками и искривлёнными ножками в черных чулочках. Вместо того, чтобы снимать, Юрий Плуготаренко, как от удара в лицо, закрыл глаза. А когда открыл – женщины в коляске и мужчины на тротуаре не было. Всё это словно примерещилось ему. Никогда он не видел эту женщину в Городе.

Точно так же он не смог сделать снимок мужчины, сбитого в прошлом году машиной. Не смог снять драку в парке, где двое убивали ногами одного, катающегося по траве, за-

крывающегося руками. Не смог снять соседа Рыбина, старика, лежащего в гробу с лицом, как жёлтый стеарин. Хотя его просили и жена, и дочь умершего.

Он понял, что «репортёром бесстрашным», таким, например, как Валька Жулев, его соклассник, который недавно снимал большой пожар на нефтебазе, а потом сгоревших там людей (исключительно для домашней коллекции, как пояснял он потом в редакции, исключительно!), ему, Юрке Плу-гу, не бывать никогда. Он фотографировал жизнь. Он не мог фотографировать смерть, драки и катастрофы.

В Афганистане однажды к ним с Лапой в кабину ротный подсадил отставшего от своей группы военного корреспондента, увешенного фототехникой. В обычной солдатской хэбэшке и кирзачах, но в тяжёлом новом бронике и каске. Кто он такой, из какой газеты – корреспондент парням в кабине докладывать не стал. Ещё не привыкший к афганской дневной жаре, сильно потел. Лапа посоветовал ему снять каску. Корреспондент, как женщина резко мотнув головой, рассыпал мокрые красивые волосы до плеч. Автоколонна ползла по серпантину вверх, растянутая километра на три. Камаз Плуготаренки и Лапы полз в середине.

Корреспондент вяло снимал проплывающую внизу речку в ущелье, редкие, как ласточкины гнёзда, селения на горах. В Салангском тоннеле, в шестикилометровой прохладе его и полутьме, вроде бы уснул.

Но когда внизу, в зелёнке, вдруг взорвалось впереди, удавило, – его как ветром выдуло из кабины. Побежал со всей аппаратурой вперёд, упал в стрелковую позицию, раскинув ноги, и начал снимать горящий, как стог, бэтээр и разбросанные разорванные тела.

Шофера-солдатики повыскакивали из машин, залегли. Дробно заработали пулемёты охранения колонны, а корреспондент уже бегал вокруг горящего бэтэера и всё снимал

высокое красное зачернённое пекло, вертящееся в небе, а потом внизу разбросанные изуродованные тела. Длинно зудели рикошетные пули, два раза серьёзно рвануло рядом, а он всё бегал, снимал, не унимался. «Ложись, полудурок!» Ротный вскочил, стукнул его по затылку. Только тогда он упал, пополз за камень. Быстро. Точно ящерка.

После того, как духов заткнули, он влез в кабину радостный, безумный. «А? Парни? – подмигнул и хлопнул по фотоаппарату. – Всё снял!»

А зачем? – хотелось спросить парням. Зачем надо было снимать горящий бэтээр и трупы ребят вокруг него? Для чего? Поразил парней тогда безумный, кровожадный какой-то азарт корреспондента.

Через неделю возвращались обратно по той же дороге. Медленно протащились мимо недавно сожжённой машины со спаренной зенитной пушкой, сброшенной с дороги. На обочине лежали четыре тела. По волнистым женским волосам сразу узнали военного корреспондента. Пуля нашла его как белку, разворотив глазницу. Броник с него уже сняли. «Кому суждено сгореть, тот не потонет», – сказал Лапа и врубил первую скорость на крутой подъём. Через полгода он будет кувыряться в кабине и погибнет здесь же, на Салангском перевале.

С тоской и стыдом Плуготаренко вспомнил, как сразу после госпиталя приезжали к нему из Ярославля родственники погибшего Генки. Родные брат и сестра. Как дико смотрели

они на неудержимо смеющегося, раскатывающего по комнате инвалида. Который, как им казалось, радовался только одному, что уцелел, что не погиб как Генка. Они переглядывались: туда ли мы попали? Тот ли это Юрка Плуг, о котором писал почти в каждом письме брат? На вокзале, прощаясь с ними, он смеялся и плакал, смеялся и плакал, продолжая неудержимо гонять у вагона. И только брат Генки остановил его, наконец, поймал и прижал к себе.

Уже тогда Плуготаренко начал понимать, что с головой у него не всё хорошо. Что все эти фейерверки на людях, раскатывания и неудержимый смех выглядят для окружающих, по меньшей мере, странно. Что помимо всех травм – и позвоночника, и таза, и ног, – серьёзная травма головы бесследно для него не прошла. В госпитале, весь переломанный, он лежал ещё и с синим заплывшим лицом, на котором глаз даже не было видно. Позже, когда снимали гипсы, печальный узбек Акрамов после черканий иглой по его недвижным ногам сидел и углублённо думал. Потом говорил: «Ты, Плуготаренко, в рубашке родился. Живи и радуйся». Вот он живёт и до сих пор радуется. Радуется, раскатывает и смеётся. Правда, теперь только перед одной Ивашовой.

Плуготаренко проявлял в ванной снимки, на которых Наталья шла на него через дорогу, только что не разорвав на груди платье (тельняшку): «Снимай, гад! Снимай!»

Вяло ел потом с матерью в комнате. Тут раскатывать и фейерверки давать не надо, здесь как в погребке, как в катакомбе, всё своё, тёмное, привычное.

– Юра, что у вас произошло с Юлей? Почему она плакала на вокзале?

– Ровным счётом ничего, мама. У неё нелёгкая жизнь в Москве. Вот она и плачет.

Сын смотрел на свою некрасивую постаревшую мать с бурганом на голове, корни которого от вылезшей незакрашенной седины казались подмёрзшими. Всё пытается жизнь семейную сыну устроить. Всё не теряет надежды, что будут у неё внуки.

После гибели отца, сколько помнил Плуготаренко, она только один раз попыталась выйти замуж. Жениха звали – Артур Завертаев. Его привёл как-то вечером дядя Миша Зимин.

Юричик, тогда уже ученик седьмого класса, придя из школы, сказал невысокому лысому мужичонке:

– Привет, дядя! Жениться надумал?

А когда гость гордо назвал себя и пожал ему руку, – по-

хлопал его по плечу:

– С таким именем и фамилией, дядя, все старые куропатки твои, – и пошёл к себе.

Мать густо покраснела, а дядя Миша Зимин захохотал, – Весёлый мальчик, – сказал тогда Завертаев и вытер со лба пот.

Во второй раз «весёлый мальчик» устроил ему натуральнейшую кову. Пока опять втроем сидели и чокались за столом рюмками, каким-то адским клеем (строительной пеной?) присобачил в прихожей его туфли к полу. Завертаев ничего не мог понять: хотел снять их с пола, сесть на банкетку и надеть – не получилось. Тогда вдел ноги в туфли стоя, сверху, думая их таким образом оторвать. Он упорно дёргал ноги, всё пытаясь отодрать туфли. Ругался: «Да растудыт твою туды!» Потом обиженно застыл. Сильно накрёнённый вперёд. Вроде лыжника, летящего с трамплина.

Вместо того, чтобы хорошенько отругать юного негодника, дядя Миша опять хохотал, помогая незадачливому жениху выбраться из туфель. А мать прибежала к сыну в комнату и только немо махала кулачками над его головой. Головой усердной, склонённой над учебниками.

Предлагал дядя Миша матери ещё одного жениха. Соседа своего по лестничной площадке. Напарника по охотам на уток. Тоже с понтырской фамилией – Гордельянов. Но тут уж мать заартачилась:

– Да он старик! С вожжами на шее! Какой он к чёрту же-

них!

– Напрасно. Он же ружейный охотник, Вера. Надевает человек болотные сапоги в пах, ягдташ, ружьё через плечо – и молодец перед тобой! А как он по болотам шастает, Вера! Самого не видать, только камыши змеями! Настоящий лягаш понизу идёт! Сто очков даст всем молодым!

Но мать уже сердилась:

– Миша, ты что, – не уважаешь меня?

Всё же, видимо, Артур Завертаев Гордельянова был лучше.

Позже Плуготаренко, конечно, осознал, что был он в юные свои годы натуральным маленьким говнюком, и просто бить его в ту пору было некому.

Сын сжал руку матери. Глядел вбок, как виноватый волчишко. А та только хмурилась. Телячьи нежности какие-то. Что он скрывает опять? Связано ли это с Юлей или ещё с кем-нибудь?

Вдруг руку выдернула:

– Смотри!

В телевизоре бывший министр иностранных дел показан был сразу после покушения на него. Сидел на стуле. Полураздетый. В майке. Весь пёстрый от крови. Словно чудом выскочивший из-под кровавого дождя.

– Смотри, как фотографируют! – показывала мать на фотокорреспондентов, словно захлёбывающихся фотовспышками. Намекая, что не чепуху всякую за окном надо снимать,

а вот как здесь – настоящее, пусть даже трагическое. Вот же!

Жалко было полураздетого седого грузина, плохо говорившего по-русски, до боли жалко. Но это был не его, Юрия Плуготаренко, сюжет.

Сын смотрел на жёсткую, без всяких сантиментов мать: уж она бы точно развернулась. Дай ей волю, дай ей в руки фотоаппарат.

После смерти отца все места работ матери были связаны с дядей Мишей Зиминим. Всегда помня о погибшем старшем друге, жену его на новые места он просто перетаскивал за собой. Когда сам менял работу или шёл на повышение. Так, в самый канун перестройки, мать оказалась у него в автоколонне № 3. Стала работать диспетчером. Выписывала путевые листы-маршруты, составляла отчёты по ГСМ, вела таблицу, ругалась с шофернёй из-за опозданий, прогулов, пьянок. Смахивая на ушастого Чебурашку, умела одновременно работать с двумя трубками, попеременно прижимая их к плечу.

Когда затрещало всё по швам и началась всеобщая повальная говорильня – сразу деятельно включилась в неё. Ходила на собрания, на митинги, везде выступала. Её выбирали в какие-то комитеты, комиссии, выдвигали делегатом на разные местные съезды.

Юрий Плуготаренко тоже было загорелся. Стал ездить в Общество, где уже вовсю размахивал протезной рукой Прокков. Сам даже один раз что-то истеричное пролаял со сцены, поднятый туда инвалидами, как трибунная тумба. Сорвал даже аплодисменты. Но после Афгана ставший пацифистом в душе, скептиком, быстро как-то остыл. Поражало сейчас, как один, в общем-то, недалёкий, но уверенный в се-

бе человек смог взбаламутить всю страну. Но это было время уверенных людей. Они тогда всплыли разом, всюду и во множестве. Они знали, что нужно делать. Как спасти страну. Они разглагольствовали на Съездах, собирая миллионы зрителей у телевизоров. Они выстраивались к микрофону в затылок друг к другу с запакованными пока что мыслями, все серьёзные, как голубцы. Выборные чабаны от союзных республик за широким столом президиума тоже были серьёзные. Скоро им предстояло оттяпывать от единого пирога жирные свои куски. Тут не до шуток. А пока... а пока главный заводила с чернильной кляксой рулил Съездом, двумя коматозными параллельными руками показывал всем направление, перспективу. По заранее заготовленному списку выпускал на трибуну и других ораторов говорить. Разглядывал очередного оратора, стоящего в трибуне, со спины. Полностью раскрытого. Словно бы интимного. С неуёмными ногами. Успокаивал ноги регламентом. Подавал команды на включения микрофонов в зале. Поочерёдные включения. И тогда признанный эксперт всего Съезда – мужчина очень прямой и гордый, с глазами, как запылённый сквозняк – от второго или третьего микрофона давал своё чёткое заключение по выступлению только что отзвонившего с трибуны депутата. А пробирающийся на своё место депутат лез и досадовал, что ничего всезнайке ответить не может. Без микрофона всезнайка его просто не услышит.

Чаще в то время стал приходиться Проков. И не столько к

собрату-афганцу, сколько к матери его, Вере Николаевне. В нетерпении они усаживались напротив телевизора, точно по времени включали его и смотрели Съезд. Они знали всех сильных депутатов поимённо, будто на ипподроме скаковых лошадей. Они, что называется, всё время делали ставки. Выигрывали, ошибались, проигрывали. Спорили до хрипоты. И снова ставили, не спуская глаз с экрана. Ехидного, подковыривающего инвалида они просто не замечали. Они о нём забыли.

Сам Проков в то время боролся за место Председателя в Обществе инвалидов Афганистана Города. В подражание Съездам в телевизоре инвалиды тоже выбирали Председателя демократично – из целых двух самовыдвиженцев. Первый кандидат, Громышев Виктор Васильевич, медленно передвигал себя к трибуне на протезах в пах, которые поочерёдно означались то в одной его штанине, то в другой – словно вывихивал у себя тазобедренные суставы. Афган он прошёл поваром полевой кухни. Во время боёв в Панджшерском ущелье против Ахмад-Шаха Масуда прямым попаданием мины кухню разнесло, а Громышеву оторвало обе ноги. Однако Виктор Васильевич интереса к жизни не потерял. Хотя и имел большое брыластое лицо бульдога, губы на этом лице умел складывать сладко, как это делают всегда тубисты, прежде чем начать играть. В своей программе он рисовал инвалидам картины полного благоденствия от бескорыстной помощи спонсоров, шефских организаций, которых нужно

срочно искать. Призывал налаживать связи с Организациями инвалидов других регионов России.

Проков прошёл Афган ванькой-взводным, потерявшим, как он сам считал, руку по глупости, из-за вовремя не обеззараженной легкой раны. Он не брал так широко, как соперник, больше напирал на реальное, сегодняшнее – на самокупаемость, как он выразился, инвалидов, на организацию ими своих кооперативов. Чтобы занять всех, дать всем работу, даже надомную. «Деньги, надо зарабатывать, ребята, деньги. Нельзя в 25-30 быть пенсионерами, прокисать на пособия. Если не лежачий, двигаешься – трудись. А не языком плещи!» – намекнул он в конце на предыдущего оратора.

Проков победил тогда в честной борьбе, стал Председателем. Однако Громышев не остался без дела: вошёл в рабочий Актив Общества. Дышал Прокову в затылок: на следующих выборах, Коля, – сойдёмся, поборемся!

Два кооператива тогда создали. Первый – по ремонту и покраске автомобилей. Арендовали небольшой ангар, и инвалиды в комбинезонах, как бренды обнажая культи в масле, ходили вокруг двух-трёх авто и крутили уцелевшими руками гайки.

Как и полагалось в те времена, у кооператива даже появилась однажды «крыша». Сама к ним пришла. В виде двух крепких братков в майках и трениках с лампасами. Но Громышев свернул при них свою железную толстую трость колесом и вновь спокойно распрямил её. Да и остальные инвали-

ды незаинтересованно начали покачивать увесистыми разводными ключами. И братки с большим почтением ушли. Плуготаренко в том кооперативе успел даже поработать карбюраторщиком.

Второй кооператив был по починке оргтехники. Однако в нём дело сразу не пошло: в одной из комнат Общества, на широком столе в окружении аккуратно разложенных напильничков, надфилей и тисочков долго простояла пишущая машинка. Всего одна. С торчащими вкривь-вкось рычажками – вроде расчихвощенного тетерева. Другую оргтехнику на починку почему-то никто больше не принёс. Хотя несколько раз давали в газету объявление. На этом всё и закончилось. Проков, правда, стал искать по городу и находить работу для надомников. И для Юры Плуга в том числе.

6

Когда Галина Павловна Зимина приходила к Плуготаренкам с лицом озабоченной дольной тыквы – это означало только одно: предстоит тайный женский Совет, на котором будет решаться только один вопрос – что делать с Юлькой, как вытащить её из московского болота. И на Совете этом Тучным Кутузовым, конечно, будет сама тётя Галя, обиженная на дочь, ну а мать довольствуется всего лишь ролью, к примеру, Баркляя де Толли. Тощего, сочувствующего, предупредительного.

Попив с молчаливыми серьёзными женщинами чаю, Юрий уезжал к себе. Лежал и слушал приглушённую бубню, сразу же начавшуюся в столовой. Которую слушать ему не должно. В которой наверняка будет мелькать и его имя. Имя как возможного пусть даже не мужа, нет, но хотя бы нового, доморощенного жениха, сожителя.

Тётя Галя не всегда была такой беспокойной и полной, как сейчас. В далёком первом открывшемся бассейне Города, куда обе семьи купили абонемент, она, красиво нырнув, мотала сомкнутыми ногами мощно и плавно, как ихтиандр, как чёрный дельфин.

Мать в сером купальнике почему-то в бассейн всегда падала. Серой корягой. Точно её сталкивали в воду. Но управлялась и тоже плыла. Мелкота – Юрка и Юлька – гоняли

по воде друг за дружкой голянами. А не умеющий плавать дядя Миша сидел и словно загорал под люминесцентными лампами, выставив пузо. Потом с поджатыми ногами прыгал в мелкий детский лягушатник, чуть не выплёскивая его весь. Хорошее было время.

А какие пироги тётя Галя пекла! У Зиминых на кухне мать всегда крутилась возле мастерицы, спокойно заворачивающей на противне пирог, заглядывала с разных сторон, пыталась уловить приёмы её, главный секрет, но не дано было, Бог не дал. Отменные пироги ели всегда только у Зиминых.

А непременно байки, рассказанные за столом дядей Мишей! И всегда только весёлые, часто анекдотичные, над которыми все покатывались.

Недавно выпивали с ним. Мать была на работе, поэтому расположились на кухне. Дядя Миша рассказывал на этот раз байки из своего детства:

– ...Ребятчья забава эта у нас называлась «Чугунный зад». Встаёт оголец на коленки и локти. Ждёт. Все хором спрашивают его: «Чугунный зад, к полёту готов?» А сами за руки за ноги уже раскачивают другого огольца. «Чугунный зад» твёрдо отвечает: «Готов». Тогда его вдаряют этим огольцом, как снарядом, и он отправляется в полет. Метров на пять. Хе-хе...

Плуготаренко хохотал, Проков смеялся вежливо. Поглядывал на дядю Мишу. На его обгорелую щёку.

Вдруг спросил. Видимо, приняв его за участника войны:

– Михаил Андреевич, в чём разница между Отечественной войной и Афганской? – И, не дожидаясь ответа замешкавшегося с ответом «ветерана», сам начал всё объяснять:

– Вам не стреляли в спину, Михаил Андреевич. Вам стреляли в грудь. Понимаете разницу? А мы воевали среди, так называемого, мирного населения. Днём все «шурави!», братья навек, а ночью – душманы. Мы постоянно ждали ножа в спину или гранаты в ночную землянку. Вас встречали после войны как героев, орлов, а нас – как нашкодивших псов, которые еле унесли домой ноги. Мы же все сейчас синдромы. Пожизненные афганские синдромы. После сильного хлопка мы до сих пор падаем плашмя и охватываем голову. Нас не берут на работу, не любят начальники. Везде мы ищем подвох, несправедливость. Надоедаем, добиваемся чего-то, качаем права. В семьях мы или деспоты, или подкаблучники. Нормальных семей у нас нет. Мы истеричны, нетерпимы, обидчивы, агрессивны. Недавно один из нас чуть не убил контролёра в автобусе за то, что тот потребовал показать билет. Вот что мы такое сейчас. Среди нас есть только один жизнерадостный человек – это Юра Плуг. Вот он, перед вами, – показал Проков на Плуготаренко, как на редчайший экспонат. – И то, чтобы таким заведённым на радость стать – надо слететь в пропасть и всему переломаться.

Дядя Миша несколько подрастерялся от таких страстных слов. И ещё от того, что его, Зимина, приняли за участника войны. Липкую яичницу на его щеке даже стащило немного

книзу. Среди закуски с торчащей бутылкой и рюмками искал слова для ответа. Сказал, наконец:

– Я ведь не воевал, Николай. Чего же ты меня так составил?

– Разве? – искренне удивился Проков, опять посмотрев на обгорелую щёку лже-ветерана. – А я думал, вы танкист. Воевали.

– Нет, Коля. Правда, это тоже в армии меня. Но в мирное время. В гараже было дело. При изготовлении аккумуляторного гидролиза. Один гад подкрался и серной кислотой плеснул. Уже после того, как подрались. Когда я его уделал. Вот и верь, что после драки кулаками не машут. Ещё как машут. На всю жизнь метку оставил. А я – с 37-го года. Воевать, сам понимаешь, никак не мог. Когда началась война, под стол ещё ходил.

Зимин помолчал.

– Ну а что касается двух войн – тут ты прав, Коля. На сто процентов прав. Та война была действительно народной, отечественной. А в Афганистан влезли непонятно зачем. Геронтологи наши придумали всё, маразматы.

Плуготаренко тогда хорошо запомнил слова Прокова об Афгагане, поражаясь, что тот немногими словами смог выразить то, что у Юрия самого давно роилось в голове. О чём нередко думал по ночам после очередного афганского снакошмара, подкинувшего его на диване. Сам Плуг, как военный шофёр, ощущал сейчас всю Афганскую войну нескон-

чаемой дорогой в горах, днями удушающе жаркой, вечерами тянущейся и тянущейся в дырку заката. И не мудрено – войну он видел только через лобовое стекло своего камаза. И был вроде бы в относительной безопасности. Хотя некоторые отправляемые в горы автоколонны длиною в два, а то и три километра напоминали войсковые операции: с большим охранением, с разведкой, с подавлением гнёзд душманов артиллерией и даже авиацией. Иногда попадали и в засады. Случалось тогда и стрелять. Отстреливаться. Генка Лапа бил экономно, вроде бы прицельно. Пацифист Плуг палил в белый свет как в копейку. «Куда строчишь, дурак! – сердился Лапа. – Вон туда стреляй!»

...В столовой женщины всё бубнили. Однако Плуготаренко думал уже о другом – как исхитриться и пригласить Наталью Ивашову в театр. На спектакль, контрамарки на который ему уже принесли. Пойдёт ли она с ним.

В местном драмтеатре инвалид со своей коляской примелькался давно. Года два назад они с матерью вдруг взялись ходить почти на все спектакли театра один, а то и два раза в неделю. Тогда же, как потом узнал, на одном из собраний труппы кто-то предложил взять шефство над героем-афганцем, постоянным, преданным зрителем, который в антрактах уже раскатывает по театру как по своему дому. Артисты дружно поддержали инициативу, некоторые артистки даже загорелись лично приносить контрамарки герою домой. Однако до этого не дошло, контрамарки для инвалида и его ма-

тери поручили заносить Кнутову, бутафору, живущему через дом от Плуготаренков. Мужчине мрачному. С длинными седеющими волосами. С большим лошадиным лицом. Похожему на сивого мерина. Который, правда, уже не врёт, а больше глухо молчит. Когда о решении собрания забывали, он сам приходил к администратору и говорил два слова: «Контрамарки. Афганцу». Юрию Плуготаренко в дверь звонил длинно. Как звонит милиция. Вера Николаевна испуганно распахивала дверь. «Вот. Сегодня в 7.30. Пьеса о войне». Как будто повестку в суд женщине вручал. Однако от чая никогда не отказывался. Сидел с матерью и сыном в комнате за столом, солидно пыжился. Бутафор театра, он тоже был артистом. В военной пьесе известного сибирского писателя играл роль лётчика-фашиста. В полной тьме, подсвеченный на авансцене, с невыносимым радиовоим он якобы пикировал в кабине юнкерса и оглушительно бил из самолётной пушки. Потом словно бы делал новый разворот и опять с воем устремлялся вниз. В лётчицких очках-консервах колотился с пулемётным огнём, будто ночная петарда в парке. (Плуготаренко умудрился снять его стрельбу два раза.)

Перед уходом всегда стоял и держался за коляску с инвалидом. Как в почётном карауле. Для фотографии потомкам. Только после этого уходил.

Вчера у дома афганца Кнутов в недоумении остановился – афганец уже выезжал из подъезда! Это означало, что он, Кнутов, опоздал, что не будет сегодня ему чая, а потом по-

чётного караула. При прощании.

Кнутов афганца догнал, остановил. Не глядя на смеющееся лицо, сунул контрамарки. Не слишком понимая, о чём ему говорит афганец, стоял, сердито держался за коляску. (Так обиженный мальчишка дуется, не получив конфету.) Смеющийся Плуготаренко попытался поехать дальше, Кнутов не давал. Будто утаскиваемый автомобилем, тащился за коляской. Не отставал так с полквартала. С рукой на коляске. В неполноценном, получалось, почётном карауле. Эх, афганец, куда ж ты так торопишься?

Плуготаренко улыбнулся, вспомнив сивого бутафора.

Однако как же завлечь Наталью в театр? В конце концов, решил просто подкараулить её. Когда она пойдёт домой на обед. Встретить вроде бы случайно. Ну а там – как получится.

Увидев инвалида возле своего дома, Наталья Ивашова вздрогнула. Как всегда. А подлетевший Плуготаренко уже рулил вокруг, смеялся, торопливо рассказывал о драмтеатре, о том, что он, Юрий Плуготаренко, в нём свой человек, что вот даже приносят контрамарки, что будет сидеть Наталья с ним в служебной ложе, сбоку, удобно, всё видно, всё слышно. Наталья Фёдоровна, соглашайтесь! Сегодня! Началось в 7.30!

Инвалид всё убеждал и убеждал, а Наталья чувствовала только одно – она сама себя загнала в угол. Нужно было думать, прежде чем садиться распивать чай с инвалидом и вы-

слушивать его речи. Сейчас отступить было некуда. «Хорошо, – нахмурившись, сказала она. – Я приду. Буду у входа в 7 часов».

Окрылённый Плуготаренко помчался домой. Ликовал, чуть ли не пел.

Сразу же начал готовиться к вечеру. Вымылся, освежился дезодорантом. Дольше, чем обычно, жужжал электробритвой. Как замазывал себя цементом. Потом надел белую рубашку, галстук повязал. Дальше – выходной костюм и чёрные штиблеты.

Хмурая мать убиралась в квартире. Смотрела, как сын с коляской вертится перед зеркалом. И так и эдак выставляется. Свой бурелом на голове поправляет. Ни дать ни взять дама с пальчиками! «На вот. Деньги. Угощать ведь придётся невесту. Да и букет понадобится. Для завлечения».

Наталья не умела одеваться. Знала за собой этот грех. Сегодня, уже опаздывая в театр, злилась. Как всегда до полного своего уничтожения. Перед зеркалом прихожей. Толстуха, уродина. Хватала то одну бабью тряпку, то другую. Ни на какой не могла остановиться. Надела, наконец, шифоновое платье. Явилась в нём на театральную площадь широченная и пёстрая, как балаган. На голове у женщины был златокудлый парик, а бурые щёки нарумянены как у Петрушки. Однако инвалид несказанно обрадовался, тут же вручил ей цветы, рассыпался в комплиментах. Наталья удерживала букет, точно не знала, что с ним делать. Косилась на крыльцо театра. Всё думала, как Плуготаренко будет взбираться по двум высоким ступеням. Однако инвалид дал ей контрамарку, а сам помчался куда-то за угол театра. Видимо, к служебному входу. «Встретимся в фойе, Наталья Фёдоровна!»

Они сидели сбоку притемнённого зала только одни в пустой служебной ложе. Высвеченная сцена была хорошо видна. В военной пьесе сибирского писателя сюжет разворачивался простой, но захватывающий. На Севере, где-то в Белом море, немецкий юнкерс топит небольшой транспортный пароход. На пароходе плыли раненые и два небольших воинских подразделения. Все погибают, тонут. Но один солдатик выбирается на лёд, он ранен в руку, однако винтовку не

бросает. Он идёт потом по льду, обходя торосы, в сторону, как ему кажется, спасительного берега. Но немец видит его сверху, не отстаёт, всё время пикирует, строчит, старается добить. Солдатик не даётся, падает плашмя, заползает за торосы. Немец уже расстрелял весь боезапас, у него подходит к концу бензин, а солдатик внизу шустро ползает, прячется – живой! Немца окончательно заусило – улетает за патронами и дозаправкой. В передышке солдатик опять бредёт по льду и всё время говорит. Зрители узнают из его монологов обо всей его деревенской довоенной жизни. Солдатик смышлён, с юморком, вроде Васи Тёркина. Неуёмный немец опять прилетает, опять пикирует и строчит. Но солдат внизу как заговорённый. Он плачет, ругается «да гад ты этакий!», грозит немцу кулаком. Потом на дурака шмаляет из винтовки, еле наладив её на раненную руку. Бьёт в пикирующего немца. И – попадает! За высвеченным полотняным задником сцены чёрная тень юнкерса словно бы начинает вихляться и дымить. И падает куда-то. Видимо, в море. Весь зал вскакивает и хлопает минут пять. Спектакль практически остановлен. Солдатик сидит на полу (на льду), машет над головой кулаком, плачет. В конце концов его находят живым свои недалеко от берега.

Конечно, блистал в спектакле и Кнутов, играющий роль летчика-фашиста. На затемнённом куске авансцены он колоутился с оглушительно бабахавшей самолётной пушкой как электросварщик на ночной стройке. Всё время рычал: «Дон-

нэр вэтэр!»

Новаторская находка режиссёра с медленно ползущим сильным льдом, на котором прячется солдатик, и якобы стреляющая в него самолётная пушка, установленная прямо на авансцене – создавали иллюзию реально происходящего: на солдатика пикирует, строчит из пулемёта гад-фашист, а солдатик прячется, вьётся ужом, заползает за торосы.

Всё это Наталью очень впечатлило. Понравился и исполнитель роли немца-лётчика в зверских очках-консервах, блестяще воплотивший замысел режиссёра. «Актёр Кнутов, – хлопая, шепнул ей Плуготаренко, повысив бутафора рангом. – Мой хороший знакомый!»

Когда спектакль закончился, когда после поклонов на авансцене артисты отходили вглубь и вновь весёлой братской связкой бежали на зал, когда ломко кланялся впереди них режиссёр, прикладывая руку к груди, Наталье вдруг захотелось побежать и вручить ему букет. Пошла даже, но, запутавшись в двух коридорах за ложей, вернулась обратно и хлопала вместе со всеми, локтем прижав букет к боку.

Из театра разгорячённые зрители выходили в прохладу ночи, тряся рубашки, платья. Наталья вытирала горящее лицо платком, размазывая румяна. Осталась ждать Плуготаренко на театральной площади у потухших уже афиш.

На этот раз колясочника вывез из-за угла театра какой-то мужчина в плаще прямо на майку. Он оказался исполнителем роли немецкого лётчика.

Представленный Наталье с неразгримированным, в тигровых полосах лицом, Кнутов почти не слышал слов восторженной толстой женщины. Кнутов стоял и одной рукой держался за коляску с инвалидом-афганцем. Как за какой-то громоздкий, физиотерапевтический лечебный свой аппарат. Как за немую свою молитву, в конце концов!

– Не без странностей мужик, – смеясь, пояснил Наталья Плуготаренко, когда тронулись, наконец, и Кнутов остался у театра.

Продвигались по довольно освещенной парковой аллее с приклеенными друг к дружке влюблёнными на скамейках. Конечно, говорили о спектакле. Спорили. Наталья считала, что сибирский автор с сюжетом явно переборщил – не мог солдатик сбить из простой винтовки – да еще с одного выстрела – целый самолёт. Неправдоподобно это всё, притянуто за уши. Плуготаренко тут же рассказал, что автор (сибирский) приезжал на премьеру своей пьесы и, встреченный бурей аплодисментов, со сцены после спектакля, на вопрос одного из зрителей пояснил, что случай этот подлинный, о нём он сам прочитал в «Красной звезде» в самом конце войны и взял этот сюжет себе на заметку. На будущее. Конечно, вся довоенная жизнь героя им полностью придумана, сочинена, но сам случай – подлинный. Ивашова не стала больше спорить, но всё же сказала: «Хороший писатель, Юрий Иванович, иногда сам себе потом не верит, что соврал. Тем более, со сцены. Потому он и хороший писатель».

В центре парка, на большом свету, продолжали окучивать вечерних посетителей Адамов и Сатказин. Гигантский поддуваемый человек неумоимо ломал руки и ноги свои. На мерцающем огнями танцполе танцоры выделялись по-всякому, напоминая сбесившийся на плывущем пароме крупный и мелкий рогатый скот.

Плуготаренко хотел подъехать, поздороваться с фотографом и с рисовальщиком, но те сами увидели его с дамой. Тут же подбежали. Без разговоров повели Наталью, чтобы сфотографировать на фоне неработающего фонтана.

Ивашова шла, сердилась, отбивалась как могла. Плуготаренко с коляской метался, спасал невесту, утихомиривал коллег, говорил, что снимутся у фонтана непременно, но в другой раз.

В прихожей уже по привычке Наталья долго стояла перед зеркалом. На неё смотрела уставшая некрасивая толстая тётка, отыгравшая весь дневной спектакль, уже без парика, с несмытыми, размазавшимися на щеках румянами.

Вздыхнув, двинулась в ванную, на ходу снимая с себя пёстрое платье.

Стояла под душем, вроде белой лошади под нескончаемым ночным дождём.

Был уже одиннадцатый час, но уселась есть. Раскладывала перед собой закуски на тарелках. Турецкий султан на голове развязался, лихо намотала его опять. Приступила. С аппетитом ела ветчину, беря ломтики с тарелки изящно – двумя пальчиками. Даже оттопыривая мизинчик. Одна радость в жизни осталась – хорошо поесть перед сном. Вообще-то – пожрать, если честно.

Потом долго пила чай. В телевизоре выступал писатель-шестидесятник. С прямоволосой бородой, он походил на большой колодный улей. До Москвы обитал где-то в Сибири. Вроде бы в городе на Енисее. Нового уже ничего выдумать и написать не может. Поэтому только рассказывает по телевизору стариковские свои шестидесятнические былины.

Мыла посуду на кухне. Потом под торшером упорно пыталась вникнуть в пресловутое «Ювенильное море». Отло-

жила книжку с измождёнными людьми на обложке. Легла, выключила свет.

Долго не могла уснуть. Помимо воли думала о Юрии Плуготаренко.

В театре, когда рассаживались в ложе, он разом, будто циркач, перекинул себя с коляски на откидное кресло. Наталья глазом не успела моргнуть. Оказавшись впереди неё, он, как завсегдатай, запросто свесил руку с бордюра ложи.

Во время спектакля он всё время оборачивался к ней, приглашал и её восхититься вместе с ним. Или вдруг широким жестом показывал на сцену как экскурсовод, как хозяин всей этой театральной городской достопримечательности. Наталья отвлекалась, не могла уследить за действием, а он, зная пьесу наизусть, опять оглядывался и пояснял. Когда он хлопал артистам, и без того длинные руки его, казалось, плескались у самого потолка театра. И Наталья только выглядывала из-за них, ничего не могла понять, кому хлопают и почему.

Она попросила его пересесть на её место. Точно после резкого фляка назад, инвалид тут же оказался на её стуле. Она села впереди. Но он и на новом месте её доставал – всё время шептал ей в ухо, пояснял. Изю рта его пахло мятой.

Глава четвёртая

1

У Натальи отношение к мужчинам, особенно после неудавшихся двух замужеств, было двойким – она их боялась и в то же время её тянуло к ним. Когда начала работать на почте, к ней первое время липла плоскостопная Послыхалина. Набивалась в подружки. Если заразы Вахрушевой не бывало рядом, всё расспрашивала, всё стремилась узнать у Натальи *про её мужиков*. Охотно сама рассказывала – *об этом*. Со всеми подробностями. Вспоминая партнёров, – закатывала глаза. «Ну и ночка была, подруга!» – звучал постоянный сладкий лейтмотив у тощей бабёнки с белобрысыми кудельками на голове. Видимо, из-за любвеобильности своей и уродливых ножек она пользовалась у мужчин большим спросом. В своём большом доме на Холмах она устраивала целые оргии. Особенно после смерти матери. С хрипатым Высоцким из магнитофона, с водкой, с долбёжной музыкой и лихими плясками под неё, когда казалось, что мужчины, ломая ноги, стремятся выдернуть у партнёрш руки.

Всё время заманивала к себе на Холмы Наталью: «Хватит куковать дома одной, подруга! Развеешься! Ощутишь себя женщиной! Я тебе такого молодца подберу! Поехали!»

Наталья, в своём женском одиночестве не избежавшая тайных занятий, которым иногда предаются безмужние застенчивые женщины, долго сопротивлялась. Но однажды сдалась – поехала к Послыхалиной. Вместе с ней. На Холмы. С предчувствием неизведанного, с замирающим сердцем. Поехала будто бы на день рождения Гальки. «Подарка не надо – водки купи», – сказала «именинница» возле гастронома.

В тот вечер Наталью вкрадчиво водил под музыку танго очень тощий мужчина. Водил на полусогнутых, кошачьим шагом. Тем самым наглядно показывал, каким злым он будет любовником. Но когда завел её в тёмную спальню, она сразу начала отталкивать его, бороться с ним.

Она вырвалась на свет обратно в большую комнату, оправляя платье.

Уже разложенный диван стоял как полигон. Душевная, полураздетая, с напаренной водкой душой на стуле рядом пела Галька, висая на непомерно большой гитаре как малолетка. У ног её восторженно, будто на задних лапках бобик, стоял на коленках её усатенький хахалёк.

– Присоединяйся к нам, подруга! – похлопала по дивану Галька. Восторженный тоже повернул голову.

Наталья сразу стала серой. Быстро пошла к двери. Крыльца её вырвало.

Долго ходила по темному двору, выворачивалась, сгибалась до самой земли. Вышла на улицу, двинулась вниз к пла-

чушим огням города.

«Всё! Никаких больше козых потягушек!», – сказала себе на другой день. С Галькой порвала. На работе не видела в упор. А та только обиженно хихикала, рассказывая товаркам про Наталью всякие небылицы, гадости.

И только один раз за эти годы Наталья полюбила.

Еврей, он был печален как лошадь. Михаил Янович Готлиф. Познакомилась с ним Наталья в областной библиотеке им. Достоевского. В читальном зале. Засидевшись однажды допоздна.

Два месяца он печально говорил о литературе. Он сам писал. Повести. Рассказы. У него была справка из психиатрической лечебницы, позволяющая ему не работать на производстве. В одном и том же плаще, как несомый тёмный сарай, он ходил по вечерним улицам и рассуждал: «Поголовно читающего Советского Союза, Наталья Фёдоровна, давно уже нет. Накрылся медным тазом. Мы с вами – редкое исключение. Мы не вымершие динозавры. Сейчас современное телевидение читателя развратило. Как развращают женщину. Вместо серьезных книг, серьёзного кино подсунуло ему склоки, скандалы в прямом эфире. Кухонных скандалисток с незатыкающимися погаными ртами. Как, я извиняюсь, с помойками. И всё это прямо ему в дом. Во двор на лавочку даже выходить не нужно. И всё это ему каждый вечер. И всё это на всю страну. Совести, стыда, запретных тем не стало. К тому же сейчас время тотальной рекламы. Время раскрученных брендов. В том числе и писательских. Чаше просто раздуваемых. Ну а у меня – вы сами знаете, – бренда нет. Ни надутого, никакого». И он печально разводил руки.

В такой лошадиной печали Наталья завела его однажды в свою квартиру. Как в новое для него стойло. Ему вроде бы понравилось в нём. Он стал приходить. Отрешённый, всё такой же печальный, он позволял Наталье любить себя. Всегда покормив, Наталья раздевала его как ребёнка. Он капризничал. Наталья ползала по ковру, целовала его дородное равнодушное тело. Иногда на него находило, и он становился необузданным. Он раздувал ноздри как жеребец. Наталья в такие минуты была на небе, пела. Вернее, повизгивала. Потом он снова угасал и только позволял себя раздевать и ползать возле него.

Как нередко бывает у еврейских мужчин, у него была только одна беда в жизни – его мама, из-под каблука которой он так и не смог выползти. Когда он насмелился и привёл подругу для знакомства с ней, Наталья увидела сердитую еврейку в годах. Длинное тулово её в фартуке походило на выпуклый щит омовца, из-под которого видны были только смявшиеся кривые ножки. Еврейка не признала русскую халду сразу. Чаепитие за столом напоминало развод в суде. Судья сидит в высоком кресле, истец не знает, куда смотреть и что говорить, а ответчица готовится выступить, отбиваться, буря от волнения, как свёкла.

Кончилось всё тем, что печальный еврей перестал приходить. Мама победила. Потом и вовсе увезла его куда-то. Только позже Наталья неожиданно узнала – куда.

Однажды она принесла пенсию... в их квартиру. Точно!

Она запомнила и дом, и подъезд, и этаж, и дверь в заплесневелом дерматине.

Она позвонила. Но вместо Готлифа или его мамы ей открыла дверь незнакомая женщина средних лет. И сразу с улыбкой отступила, приглашая войти. В комнате, где когда-то Наталья сидела у стола, первоклассница в форме и с белым бантом на голове старательно выводила в тетрадке ручкой. В ожидании пенсии в углу недвижно сидел пенсионер. С толстыми, широко расставленными ногами походил на пухлое чёрное кресло из кабинета товарища Сталина.

Как пояснила женщина, они обменялись с Готлифами квартирами. Мать с сыном уехали в Кременчуг, на Украину, а они вот приехали и вселились сюда. «Вы тоже приносили им пенсию?» Наталья зачем-то сказала: да, приносила.

Это произошло два года назад.

И вот теперь – инвалид в коляске...

3

Приближался день рождения Плуготаренко. Мать злилась, знала уже, что он собирается пригласить и Наталью. Обычно приходили только дядя Миша и тётя Галя да Проков с женой. Ну, еще два-три человека. Все из Общества. А тут, видите ли, будет ещё и Ивашова.

– Ты в театр её сводил – и обрадовался? – горячилась мать. – Ты думаешь она пойдёт к нам? Мешком-то пуганная? Да она от страха заблевала весь дом у Послыхалиной на Холмах! Мне Баннова недавно рассказала. Весь дом!

– Ну мы это ещё посмотрим! – как-то мстительно сузил глаза сын. Точно решил сплетницу Баннову зарезать. Прежде всего. А уж потом пригласить Ивашову Наталью.

В тот день он выехал из дому в шесть вечера. Он знал, что Наталья работала до семи. Торопиться ему не нужно было. Над головой тащило полчища сизых облаков. На Тургенева мимо проплыл большой открытый двор. Во дворе после сильного дождя – тихие деревья. Он остановился за полквартила от её дома. Ему нужно ещё раз всё хорошенько обдумать. Что он будет ей говорить.

Она вышла на Тургенева из-за угла. И он разом забыл всё – рванул. Как после стартового пистолета. Он летел к ней, пригнувшись, сумасшедше дёргая рычаги коляски.

А дальше был всегдашний сельский танец-хоровод из тол-

стой женщины и инвалида в коляске. Где добрый молодец выделявал перед красной девицей свои коленца, кренделя: Наталья Фёдоровна! мне тридцать пять! все будут свои! я вас приглашаю! приходите! не пожалеете! А красна девица на цыпочках шла, кружилась: что вы! я не могу! я не готова! я не умею! мне нельзя! (почему?) я занята! и вообще пошли вы к чёрту! (Это уже тихо, в сторону от пьесы.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.